

Елена
Арсеньева



Наследство
колдуна

Елена Арсеньевна Арсеньева
Наследство колдуна
Серия «Дети Грозы», книга 2
Серия «Любовь и тайна»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36084831

Наследство колдуна / Елена Арсеньева: Эксмо; Москва; 2018

ISBN 978-5-04-094033-2

Аннотация

Дети погибших при странных обстоятельствах советских колдунов Егоровых выжили. Судьба разбросала их по разным городам страны. Этим обладающих сверхъестественными способностями мальчика и девочку ищет тот, кто предал их родителей. А также шпионы Аненербе, ведь идет война с фашистской Германией. Помимо того, что их способности каждая сторона планирует использовать по-своему, есть и пропавший дневник отца Егоровых, о котором его потомки не могут не знать. Завладеть этим артефактом – значит получить доступ к величайшей тайне...

Ранее книга выходила под названием «Последний приют призрака» и псевдонимом Е. Хабарова

Содержание

Пролог. Окрестности Сарова, Нижегородская губерния, апрель 1927 года	5
Конец ознакомительного фрагмента.	139

Елена Арсеньева

Наследство колдуна

*Есть на небесах Бог, открывающий тайны.
Книга пророка Даниила*

*В судьбе нет случайностей.
Лев Толстой*

Художественное оформление *Елены Анисиной*
Иллюстрация на переплете *Елены Черновой*

Ранее книга выходила под названием «Последний приют призрака» и псевдонимом *Е. Хабарова*

© Арсеньева Е., текст, 2018

© Чернова Е., иллюстрация на переплете, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

Пролог. Окрестности Сарова, Нижегородская губерния, апрель 1927 года

Колеса телеги увязли в раскисшей колее проселочной дороги, и возчик устало простонал:

– Вот же сила нечистая! Который раз засели! Чего ж выбрали для таких важных дел самую распутицу?!

– Зря ты яришься, – сказал человек, сидевший в телеге на сене, положив на колени винтовку. Снял треух, обнажив лысую голову, зачем-то заглянул в шапку и снова глубоко надвинул ее на лоб. – Очень хорошо, что распутица, что ни пройти ни проехать. Встали бы дороги, так со всех окрестных сел народ бы собрался. Небось обложили бы, не дали бы ничего увезти, а то и постреляли бы нас из чашобы.

– Слышали вчера набат? – угрюмо проговорил второй седок, тоже вооруженный, настороженно всматриваясь в близко подступивший к дороге еще сквозной апрельский лес. – Вроде в Кременках ударили...

– Ну, Кременки от нас теперь далеко в стороне, – ухмыльнулся лысый. – Пускай они теперь хоть во все колокола звонят, толку-то!

– Слышь, товарищ Беляков, – сердито прервал его возчик, – и ты, Елисеев, давайте-ка слезьте да телегу подтолк-

ните, а то лошадь надорвется.

Седоки безропотно положили винтовки на сено и спрыгнули в жидкую холодную грязь, сразу утонув по щиколотки. Беляков был в сапогах, Елисеев – в валенках с галошами, которые немедля увязли и сползли с ног.

Возчик, обутый так же, поглядел на него, хмыкнул в усы и не стал слезать с облучка.

– Пошла, пошла! – подхлестнул он вожжами лошадь. – Пошла, пошла, милая!

– Ты ее кнутом, дохлятину! – изо всех сил подталкивая телегу, задыхаясь, выкрикнул Беляков. – Небось взорлит!

– Взорлит! – сердито передразнил возчик, не обернувшись. – Нам на ней до самой Москвы тащиться. Как бы не надорвалась. Падет животина – что станем делать с нашим ценным-бесценным грузом? Так что навалитесь, граждане-товарищи!

– Без толку, – буркнул Елисеев, куда более доходяжный, чем крепкий, широкоплечий Беляков. – Давайте гати подмо-стим.

Упарившись, толкачи сняли с себя полушубки, побросали в телегу. Елисееву возчик дал топорик, Беляков орудовал охотничьим ножом.

Наломали веток, нарубили подлеска, набросали в грязь, опять взялись толкать с оханьем, да кряхтеньем, да матюгами – и наконец увязшее колесо выскочило, телега пошла, пошла, и хорошо взопревшие Беляков с Елисеевым только

примерились вскочить в нее, как возчик снова натянул вожжи.

– Чего ты? – сердито крикнул было Беляков – и осекся, увидев впереди на дороге мужскую фигуру, слегка размытую странной легкой дымкой, какая курится в иной знойный солнечный день над лесной дорогой.

Солнца, впрочем, не было и в помине, да и зноя тоже. Какой зной в начале апреля? А если по-старому посчитать, это и вовсе еще самый настоящий март. Спасибо скажешь, если не запуржит да не завьюжит!

– Кто такой? – крикнул Беляков, хватая с телеги винтовку и наводя на незнакомца.

Тот молчал и, чуть наклонив голову, переводил взгляд с одного на другого.

Беляков передернул плечами – начал пробираться озноб, и он пожалел, что не успел одеться, прежде чем откуда-то взялся этот незнакомец. Но в то же мгновение ему стало жарко – куда жарче, чем несколько минут назад, когда толкали телегу и мостили гать. Незнакомец стоял неподвижно, однако Белякову внезапно показалось, будто в него швырнули огненный ком и тот угодил прямо в лицо!

С криком Беляков уронил винтовку, прижал ладони к лицу, отвернулся. Рядом жалобно попискивал Елисей и, мучаясь, басом голосил возчик.

Краем уха Беляков услышал чьи-то торопливые шаги, прочавкавшие по грязи мимо него, потом зашуршало се-

но, раздался скрежет гвоздей, и он понял, что с небольшого ящика, который лежал в телеге и который им велено было любой ценой доставить в Москву, срывают крепко прибитую крышку.

– Не троньте, гады! – завопил было Беляков, однако, стоило отнять руки от лица, как из обожженных глаз хлынули слезы.

– Есть! – крикнул мужской голос. – Всё здесь! Слышишь, Гроза?.. Да ты что, Гроза? Стой, держись! Эй, Касьян Егорович, помоги ему! Упадет же!

«Касьян Егорович» – это имя было знакомо Белякову. Касьян Егорович Петров! Так в миру звали иеромонаха¹ Саровского монастыря отца Киприана. Беляков знал об этом потому, что отец Киприан вместе с Беляковым и другими членами Пензенской² губернской комиссии подписывал некий акт, а там надо было указывать не какие-то старорежимные духовные прозвища, а подлинные мирские или, как теперь следовало говорить, гражданские имена.

– Вытаскивай оттуда все! – послышался задыхающийся голос с дороги. Звучал он слабо, однако Беляков понял, что это был голос молодого еще человека. Наверное, того самого, что встал им поперек пути и швырнул в лицо пламень. – Вытаскивай все и снова забей ящик!

¹ В православии так называется монах, имеющий сан священника. (Здесь и далее прим. автора.)

² В 1927 г. Саров входил в состав Пензенской губернии.

– Поторопись, – крикнул кто-то еще, и Беляков узнал голос отца Киприана – Касьяна Петрова. Да уж, наслушался его причитаний, покуда потрошили колоду с этими мощами! А что такое мощи? Кости, больше ничего! Нет же, Касьян-Киприан крутил свою шарманку без остановки: святотатство, кощунство... Иной раз пристрелить его хотелось, честное слово. – Уходить пора! Поскорей, Гедеон!

«Гедеон! – повторил мысленно Беляков. – Гедеон! Уж не тот ли, кто был лесником при монастыре? Они его еще лесным хозяином звали. А кто ж такой Гроза? Голос молодой, незнакомый... Ну да ничего! Сыщу я вас... всех вас сыщу!»

Послышались удары молотка, потом шуршанье. Ящик забили, завалили сеном, понял Беляков.

Затем снова рядом раздались чавкающие шаги, и он ощутил движение воздуха, как будто кто-то прошел мимо.

Наверное, Гедеон!

Беляков отнял одну руку от пылающего лица и сделал хватательное движение, пытаясь поймать Гедеона, однако монах сильно толкнул Белякова – тот еле удержался на ногах, схватившись за грядку³ телеги, и буркнул:

– Изыди, исчадие адово!

А потом хмуро спросил своих:

– С этими что будем делать? Донесут ведь...

– Люди добрые! – заблажил возчик. – Помилуйте! Мы

³ Грядки телеги – две продольные жерди, сверху и снизу, образующие боковые края тележного кузова.

молчком! Клянемся! Никому и ничего!

– Молчать будем, как мертвые! – горячо поддержал и Елисеев, однако тут же умолк, словно подавился словами, которые сейчас вполне могли оказаться пророческими.

«А ведь убьют, как пить дать, – подумал Беляков, вмиг похолодев так, словно уже сделался покойником. – Да что же это... Как же это... задание государственной важности... Товарищ Тарашкевич из Пензенского губисполкома так и сказал: «Доверяем вам, товарищ Беляков Михаил Афанасьевич, и вам, товарищ Елисеев Иван Трифонович, доставить ценнейший груз, имеющий огромное идеологическое значение, в Москву!» И как хорошо все было задумано: двое саней поехали к Нижнему чисто для отвода глаз, одна телега к Пензе с сильной охраной, как будто они везут главный груз, а мы тишком из Сарова нарочно пробирались в объезд: через Дивеево, через Глухово, через Арзамас, чтобы со следа всех сбить, чтобы наверняка попасть в Москву, чтоб кости эти проклятущие туда непременно привезти! А теперь я сам костями лягу?! Пристрелят да в болоте утопят. Лошадь с телегой угонят. И все! А вдруг наши подумают, будто мы сами подались к этим разбойникам, будто сами украли груз? Что с моей семьей за это сделают?! Матвеев, уполномоченный Пензенского ОГПУ по Краснослободскому уезду, член уисполкома⁴, – он же зверь зверский! Еще в антоновщину⁵ лю-

⁴ Уисполком – уездный исполком.

⁵ Имеется в виду Тамбовское восстание 1920–1921 гг. (Антоновский мятеж)

товал! А дети?.. Дети мои? Жена беременная... Убьют ведь всех до единого, как мы с Матвеевым убивали семьи тех, кто к антоновцам ушел...»

Голову ломило от этих страшных мыслей, от ужаса неминуемой смерти!

– Ну, что делать с ними будем? – снова угрюмо спросил Гедеон. – Глумцы ведь, кощунники. Сколько зла людям причинили! Отпустим – донесут на нас, как пить дать.

– Нет, – слабо донеслось с дороги. – Оставьте их. Они... ничего не смогут...

Голос прервался.

– Гроза! – встревоженно крикнул Гедеон, и по учатившемуся хлюпанью грязи Беляков понял, что монастырский лесник куда-то бежит.

Некоторое время еще доносились отголоски их с Киприаном-Касьяном разговора, потом слышались удаляющиеся шаги двух человек, которые, кажется, несли какую-то тяжесть, потому что шагали явно медленно.

Наконец все стихло. Слышно было только, как ветер перебирает вершины деревьев.

Беляков не мог поверить, что все кончилось, а он остался

– одно из самых крупных народных восстаний против советской власти в годы Гражданской войны. Мятеж обычно называется Антоновским или «антоновщиной» по фамилии одного из руководителей восстания, эсера А. Антонова, однако истинным его главой был П. Токмаков, командующий Объединенной партизанской армией и председатель Союза трудового крестьянства. Мятежом были охвачены Тамбовская и частично Воронежская, Пензенская и Саратовская губернии.

жив. Теперь надо поворачивать обратно в Саров. Все объяснить. Так и так, напали, груз отняли... Елисеев с возчиком подтвердят!

«Вот только зачем они ящик сызнава забили?» – мелькнула мысль.

Лицо вроде бы пекло уже меньше, хотя страшно было даже подумать о том, чтобы открыть глаза. И прошло немалое время, прежде чем Беляков на это решился.

Глянул сквозь беспрерывно текущие слезы. Рядом топтались такие же плачущие возчик и Елисеев. Лица у них были красные, вспухшие. Судя по всему, он, Беляков, выглядел так же.

– Что это было, Господи, помилуй, Господи, помилуй?! – твердил возчик, истово крестясь.

– Да кто же знает, – пробормотал Беляков.

Елисеев ничего не говорил, только испуганно озирался. Наконец выдохнул испуганно:

– Аки гром с ясного неба нагрянули... не ведаю, что и как...

Потом и он перекрестился.

Белякову тоже хотелось осенить себя крестным знаменем, однако этого он, член партии и старший милиционер, никак не мог себе позволить. Возчик был самый обычный крестьянин, даже не партийный, а сочувствующий, Елисеев – всего лишь член Саровского сельсовета. Конечно, даже им было зазорно креститься, а уж Беляков скорее дал бы себе

руку отрубить!

Снова отер слезы, огляделся.

Пусто на дороге. Сунулся в телегу – ящик с грузом на месте, под сеном. Зачем же все-таки эти разбойники его снова закрыли да забили?! Ладно, их имена он запомнил, всех найдет и допросит пристрастно...

В это мгновение словно бы какая-то тень прошла перед его лицом. Прошла, да и исчезла.

Беляков проморгался. Опять огляделся.

А чего это они стоят на дороге? Ага... телега завязла, гатили грязь, выбрались на твердое. Надо ехать!

А слезы из глаз почему льются? Ветром надуло?

Странно. Вроде бы он слышал какой-то разговор... какие-то имена звучали... Неужто померещилось?

– Никто ничего не слышал? – спросил осторожно.

Елисеев и возчик пожали плечами:

– Да нет. А чего слышать-то было? Поехали, коли телегу вытолкали, чего тут стоять, зябнуть попусту!

Беляков нахмурился. Почему-то маячило на задворках памяти слово «гроза», однако небо было ясным, откуда бы взяться грозе? К тому же в начале апреля какие могут быть грозы? Чай, не лето! А если по-старому считать, так ведь и вовсе март-позимник...

– Ладно, садимся, дальше поедем, – буркнул он, забираясь в телегу и закутываясь полушубком.

Трясся так, что зуб на зуб не попадал. А лицо все горело,

горело почему-то...

«Видать, все же продуло, – подумал Беляков озабоченно. – Как бы не слечь. До Москвы еще ехать да ехать!»

Москва, 1937–1940 годы

– Иногда мне кажется, что Сашка и в самом деле твой сын, – задумчиво сказала Тамара Морозова своему любовнику – доктору Панкратову.

Впрочем, свою фамилию Тамара больше не хотела носить: ведь хлопоты ее мужа, кавторанга⁶ Александра Морозова, по разводу наконец-то закончились – и успешно. Собственно, из-за этих затянувшихся хлопот Морозов и оставался до сих пор в прежнем звании, хотя был вполне достоин следующего.

А неприятности между супругами начались еще осенью 1937 года. Тамара вдруг стала тянуть с возвращением из Москвы в Ленинград, где они вполне счастливо жили до той долгожданной поры, когда она забеременела. Кавторанг, который три четверти жизни проводил на корабле, неохотно согласился с тем, что женщине в интересном положении нужен уход куда более тщательный, чем может обеспечить permanently отсутствующий муж и суетливая, но бестолковая домработница, а потому сам отвез Тамару в Москву, где на улице Спартаковской, бывшей Елоховской, близ Елоховской

⁶ Кавторанг (капитан 2-го ранга) – в ВМФ СССР воинское звание, соответствующее званию подполковника в сухопутных войсках.

же церкви, жила ее мать и где жила до замужества сама Тамара. Во все время ее беременности Морозов ни разу не смог вырваться в Москву, однако рождением сына, которого немедленно решил назвать в свою честь Александром, был чрезвычайно обрадован, хотя едва не опоздал к моменту выписки жены из роддома.

Морозов был совершенно убежден, что Тамара немедленно вернется с ним в Ленинград, однако она настолько боялась не справиться с ребенком без материнской помощи, что мужу пришлось-таки согласиться на отсрочку отъезда и обещать прислать Тамаре ее вещи, которые она носила до беременности и которые теперь вновь пришлось ей в пору.

Сначала Морозов терпеливо ждал, когда Тамара освоится с ролью молодой мамыши и вернется к нему, однако ждать пришлось как-то слишком долго, и он, наконец, забеспокоился о судьбе своего брака.

Служба, конечно, отвлекала кавторанга от ненужных мыслей, однако они волей-неволей лезли в голову и были на диво логичны.

Если жена никак не хочет возвращаться к мужу и выдумывает для своего оправдания миллион причин, не значит ли это, что ее внимание привлек какой-то другой мужчина? И держит ее в Москве вовсе не уход за якобы внезапно заболевшей матерью, которая, на взгляд Морозова, была вполне здорова, что бы там ни плели врачи (им ведь только дай человека, а уж больным они его непременно сделают!), – а

роман с этим мужчиной?

Искать кандидата на роль романтического героя долго не пришлось. Каждый раз, появляясь в Москве, Морозов обнаруживал в поле своего зрения молодого доктора по имени Виктор Панкратов, который некогда помогал его жене разрешиться от бремени в роддоме на улице Бакунинской, а потом окружил ее и новорожденного ребенка необыкновенным вниманием, чуть ли не каждый день навещая их на квартире или встречая во время прогулок, а потом провожая домой.

Ну ладно, Морозов готов был допустить, что врач-акушер может проникнуться страстью к столь яркой женщине, как Тамара, похожей на грузинку своими черными очами, смоляными косами и точеным смуглым лицом. Хотя, с другой стороны, врач имел возможность наблюдать эту женщину в столь неприглядной, не сказать – в безобразной, по мнению Морозова, ситуации, как роды... Откуда тут вообще взяться страсти?! Впрочем, как говорится, возможно, что и такое возможно! Но с чего у привлекательного, молодого и холостого доктора вдруг возникла столь неодолимая привязанность к ребенку, которому он помог появиться на свет? Ладно был бы это хоть самый первый младенец, которого принял Панкратов, однако он проработал акушером много лет...

Итак, прекрасная женщина, которая всеми правдами и неправдами оттягивает возвращение к законному супругу, и ее ребенок, от которых буквально не отходит молодой мужчина... Какой вывод может сделать из этого супруг? Да та-

кой, что он обманут.

Во-первых, ему изменяют сейчас. Во-вторых, ему изменяли и раньше. В-третьих и в-главных: это вообще не его ребенок!

Теперь Морозов вспоминал, что ему всегда казались подозрительными слишком частые отлучки Тамары в Москву. А с другой стороны, если у женщины муж – капитан, ей не составит труда встретиться с любовником и не покидая собственной квартиры! Возможно, Панкратов наезжал в Ленинград, где они с Тамарой и зачали дитя.

Тяжело Морозову было смириться, что Сашка – не его сын, но все же пришлось.

Кавторанг совсем было собрался окончательно выяснить с Тамарой отношения, однако тут внезапно умерла его теща. На похороны, на девять дней и на сороковины он приехать не смог – был в плавании, однако, сойдя на берег, немедленно помчался в Москву с намерением серьезно поговорить с супругой, которую все еще любил. Теперь-то у нее нет ни одной уважительной причины для того, чтобы не возвращаться в Ленинград!

Морозов остался потрясен результатами их разговора...

Причин не возвращаться не было, но все-таки Тамара отказалась уехать с мужем. Просто отказалась – и все. И тогда Морозов выложил – нет, вышвырнул ей свои обвинения. Что характерно, у его жены хватало наглости их отрицать! Она клялась и божилась (выросши по соседству с Елохов-

ской церковь, этим рассадником опиума для народа, который власти почему-то никак не могли прикрыть, невозможно не набраться вредных привычек!), что доктора Панкратова впервые увидела в роддоме, куда, само собой, пришла уже беременной, так что ее сын – также сын и Морозова. Тамара уверяла мужа, что в преступной связи с Панкратовым не состоит, хотя ей очень приятно его внимание к Саше.

– И к тебе! – крикнул запальчиво Морозов.

– И ко мне, – спокойно кивнула Тамара. – Знаешь, я ведь за эти два года видела его гораздо чаще, чем тебя – за пять лет нашей совместной жизни.

– И у тебя хватает наглости называть это совместной жизнью? – вскричал оскорбленный кавторанг.

Тамара пожала плечами...

Разговор длился еще долго, перемежался криками, слезами – и свелся к одному: любовь прошла, семейная жизнь не заладилась, развод неминуем.

– Я немедленно подам документы! – заявил кавторанг.

– Подавай, – решительно ответила Тамара.

На том и распростились.

Спору нет – партийная организация и командование пытались остановить Морозова, вознамерившегося совершить такой антиобщественный и аморальный шаг: развалить советскую семью и поставить под удар престиж советского морского офицера. Однако кавторанг был непреклонен, доводов никаких не слушал – и в конце концов, по прошествии

года, развод стал свершившимся фактом.

Морозов не сомневался, что любовники торжествуют!

Да, доктор Панкратов с Тамарой и впрямь стали любовниками... но уже после того, как Морозов начал оформление документов для развода.

Тамара была глубоко оскорблена поведением мужа и его гнусными предположениями. Ну да, она не хотела возвращаться в Ленинград: ей там жилось плохо, одиноко и неудобно, – однако она была совершенно и непоколебимо уверена, что Саша – сын ее и кавторанга Морозова. Тамара могла бы поклясться в этом перед каким угодно судом, но... но оказалась бы клятвопреступницей, потому что Саша и в самом деле не был сыном Морозова. Более того – он также не был и сыном Тамары, но мысль об этом ей даже в голову не могла прийти!

А между тем это было именно так. Ребенок Тамары, родной сын кавторанга Морозова, умер через час после того, как появился на свет. Однако дежурный доктор Виктор Панкратов скрыл это и положил в его колыбельку другого новорожденного.

Можно предположить, что это был его собственный сын... Но нет! Того младенца, которого теперь звали Сашей Морозовым, доктор Панкратов по пути на ночное дежурство нашел на Сретенском бульваре, рядом с телами его убитых родителей, – и принял на себя заботу о нем.

Впрочем, «принял» – не вполне точно сказано. Он был *обязан* сделать это – обязан неведомой силой, которая опутала его, словно сетями, полностью поработила душу и разум, проникнув в его жизнь отныне единственной наиглавнейшей целью: самозабвенной заботой об этом ребенке.

Виктор Панкратов был одинок, жил в тесной, шумной коммуналке; его быт, неустроенный и неряшливый, был у всех на виду. Появление младенца вызвало бы множество вопросов, на которые он не знал ответов. К тому же он не смог бы обеспечить новорожденному ни должного ухода, ни воспитания.

Значит, следовало найти ребенку семью, которая все это ему даст, а сам Панкратов будет присматривать за ним, подобравшись к этой семье как можно ближе.

Он еще не представлял, где найти эту семью, однако та странная власть, которой Панкратов вынужден был подчиниться, словно бы пробудила в этом довольно рассеянном и, честно говоря, безалаберном во всем, что не касалось его работы, молодом человеке особую сообразительность и решительность.

Прежде всего он тайно принес спящего младенца в роддом и положил в пустой палате. Ночью медперсоналу всего мира, и даже Страны Советов, свойственно быть особенно сонным, и Панкратов надеялся, что «новый жилец» не будет замечен до тех пор, пока доктор не придумает, что с ним делать дальше.

Он напряженно размышлял, как можно «узаконить» найденыша, который стал для него главным существом на всем свете, но в это время начались роды у Тамары Морозовой. Проходили они тяжело, и вот через час Панкратов принял ребенка – мальчика, который был жив, но очень плох.

– Не жилец! – определила медсестра, имевшая весьма наметанный глаз и никогда не ошибавшаяся в своих прогнозах.

Младенца отнесли в детскую, однако Панкратов постоянно наблюдал за ним и вскоре обнаружил, что опытная медсестра не ошиблась и на сей раз: сын Морозовых тихо умер.

Надо было действовать стремительно. Панкратов принес своего драгоценного найденыша, положил в кроватку, где только что лежал сын Морозовых, завязал на щиколотке и запястье клеенчатые бирки с именем родителей и временем рождения, заботливо и умело запеленал, а безжизненное тельце спрятал, намереваясь впоследствии тайком вынести из роддома и схоронить.

Тут его позвали к новой роженице, потом к другой, к третьей, началась суматоха, потом пересменка, потом младенцев понесли к матерям – кормить... и Тамара, с трудом приходя в себя после ночных страданий, почувствовала себя счастливой как никогда в жизни.

Панкратов про себя молился, чтобы никто не заметил разницы между младенцем, родившимся только в полночь, и новорожденным, которому уже было не меньше недели, а то и все дней десять.

Однако этой разницы в самом деле никто не заметил, и можно было только предполагать, что здесь сыграла свою роль та же самая неодолимая, непостижимая, непонятно чья власть, которая подчинила себе Панкратова и окружила его неким ореолом везения и удачи.

Пользуясь покровительством этой удачи, Панкратов уже утром тихонько вынес мертвого ребенка из роддома и похоронил его под изгородью Елоховской церкви на улице Спартаковской – он не знал, что именно там неподалеку живет Тамара Морозова... так уж вышло!

Итак, доктор Панкратов вроде бы мог вздохнуть с облегчением. Однако не все складывалось столь благополучно, как ему казалось!

Некоторое время назад у него случился кратковременный роман с хорошенькой рыженькой санитаркой их роддома Галей. То есть это для Панкратова роман был случайным и кратковременным, а Галя влюбилась не на шутку, ревновала, готова была на все, чтобы вернуть Панкратова, – ну и, подобно многим брошенным женщинам, следила за неверным любовником. Она тоже дежурила в ту ночь и видела, как молодой доктор тайно принес в роддом какого-то ребенка, видела, как подменил им мертвого младенца Морозовых, – но промолчала, потому что любила этого человека и готова была покрывать все его темные делишки и даже, возможно, преступление. Однако особое внимание, которое доктор Панкратов оказывал Тамаре Морозовой и ее младенцу, было

Гале как нож по сердцу. Она ревновала, злилась...

Но вот приехал кавторанг Морозов и забрал свое семейство из роддома. Галя надеялась, что теперь у нее с Панкратовым снова все наладится.

Зря надеялась! Молодой доктор следил за Тамарой и ребенком, высматривал их, прячась возле ее дома, и Галю, которая сходила с ума от ревности, вдруг осенило, что у нее имеется отличное средство заставить Панкратова вернуться. Надо пригрозить, что, если он не женится на Гале, она откроет все его махинации с новорожденными! От безнадёжности и отчаяния она уже почти решилась сделать это, однако, на свою беду, поехала в Сокольники – посоветоваться с сестрой, которая работала там воспитательницей в детском доме.

Из этой поездки Галя не вернулась, потому что была убита. Убили и ее сестру Клавдию.

Виктор Панкратов так и не узнал, что избежал шантажа, а главное, что под угрозой могла оказаться судьба ребенка, который был ему доверен. В роддоме много говорили об убийстве Гали, однако ничего, кроме искренней жалости к рыженькой хорошенькой санитарочке, с которой у него была мимолетная связь, доктор не испытывал. Имя убийцы, само собой разумеется, Галиным сослуживцам не сообщали, оно осталось тайной для всех, кроме следствия, а между тем доктору это имя было хорошо известно, хотя он даже не подозревал об этом...

Да, Виктор Панкратов и предположить не мог, что убийцей окажется тот странный незнакомец, который следил за ним и Тamarой, а главное – следил за Сашкой. Этот человек обладал непонятной, темной, мутной властью: он каким-то образом проник в сознание Панкратова – тот физически ощущал это! – и уже почти вызнал у него все самые сокровенные тайны, касающиеся той загадочной ночи на Сретенском бульваре. Доктор почти открыл незнакомцу, кто забрал второго ребенка... Но та же сила, которая повелела Панкратову оберегать найденыша, защитила его от врага и помогла освободиться от него.

Панкратову приходилось, конечно, драться и раньше, однако никогда и никого он еще не бил с такой яростью и мощью, с какими ударил в лицо этого человека! Тот грянулся наземь без сознания. Панкратов забрал его пистолет, деньги и документы и скрылся.

Пистолет он спрятал в тайнике под подоконником в своей комнате, а документы изорвал в мелкие клочки и разбросал по разным мусорным ящикам. Но, конечно, он навсегда запомнил имя этого опасного человека. Судя по служебному удостоверению, это был лейтенант ГУГБ НКВД⁷ Павел Мец.

Впрочем, Панкратов постарался забыть о нем как можно скорее. Надо было заботиться о Саше!

О Саше Морозове.

⁷ ГУГБ НКВД – Главное управление государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел.

Москва, 1941 год

Сбежать все же удалось, хотя сначала это и казалось невозможным. Ему просто повезло...

Ну конечно, должно же ему было наконец-то, наконец-то повезти!

О том, что больной со странной фамилией Мец вспомнил все забытое, никто не подозревал. Он старательно скрывал это от всех и внешне оставался прежним: погруженным в свой непостижимый мир, а порою бормочущим всякую чушь, вроде:

– Я колдун! Главное, чтобы этого не знала рабочая власть!

Никто: ни врачи, ни санитары, ни, само собой, соседи по палате – не заметил, что взгляд Меца стал теперь не бессмысленным, а сосредоточенным. И если он был внешне погружен в себя, то лишь потому, что старался понадежней скрыть свое выздоровление от окружающих. А бессмысленный лепет нужен был лишь для того, чтобы никто ничего не заподозрил.

Хотя нет... о случившемся, наверное, догадывалась доктор Симеонова – симпатичная умненькая старушка с седыми косами, окруженными вокруг головы и запрятанными под колпак. Одна коса иногда выскальзывала из-под колпака, докторша по-девичьи смущалась, а Мец почему-то радостно

хлопал в ладоши и норовил потрогать эту косу. Нет, не дернуть, а просто потрогать...

Доктор Симеонова работала на бывшей Канатчиковой даче всю жизнь, придя туда еще в 1904 году вместе с доктором Кащенко, который стал тогда главным врачом и именем которого психиатрическая больница ныне называлась.

В свое время Симеонова слушала лекции великого Бехтерева⁸, очень интересовалась тем, что он называл непостижимыми странностями мозга, и даже пыталась обучиться методикам внушения и гипноза. Способности к этому, впрочем, у нее обнаружились слабенькие, зато к проникновению в сознание пациентов – неплохие. Эти свои способности Симеонова с успехом применяла на практике, предпочитая их электросудорожной терапии⁹, однако с Мецем у нее мало что получалось.

Очевидно, у этого бывшего энкавэдэшника были причины не вспоминать о том, что он забыл после ужасного удара чьим-то жестоким кулаком, раздробившим ему пол-лица. Три зуба были сломаны, а нос остался искривленным. Как и память... Может быть, именно поэтому доктор Симеонова

⁸ Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) – психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России; академик. Загадка его смерти до сих пор не раскрыта.

⁹ Метод лечения душевнобольных, применявшийся в описываемое время. Для достижения эффекта через головной мозг пациента, находящегося под общей анестезией, пропускали электрический ток, вызывая этим судорожный припадок.

не смогла пройти по ее извилистой дорожке, которая тщательно охранялась подсознанием Меца, даже когда он спал. Изредка и только в эти минуты доктору удавалось проникнуть в видения пациента, в которых являлся страж его памяти: темноволосый мальчишка с очень синими глазами. Мальчишка был облачен в грязно-серую рубаху и пытался, не снимая, вывернуть ее, уверяя, что с изнанки она белоснежно чиста.

Легко было догадаться, что мальчишка – alter ego Меца, у которого в самом деле были очень синие, как бы эмалевые глаза. Наверное, так выглядел этот сорокалетний мужчина в далеком детстве! А то, что он пытается показать чистую изнанку грязной рубахи, означало всего лишь попытку оправдания...

Да, понять это доктору Симеоновой оказалось нетрудно. Куда сложнее было разгадать две другие причуды Меца: он люто ненавидел ромашки и страстно любил грозу.

Вокруг красивого, хоть и весьма эклектичного по архитектуре, краснокирпичного здания психиатрической больницы имени Кащенко, находившегося близ Загородного (ранее называемого Якунчиковым) шоссе, расстилались лужайки, где на свободе разгуливали пациенты, которые считались тихими и от которых можно было не ждать неприятных неожиданностей вроде попытки к бегству или нападения на товарища по несчастью, а также санитаря. Мец относился к тихим – но лишь до тех пор, пока на глаза ему не попадалась

ромашка. Он изничтожал ее ретиво и безжалостно, словно лютого врага: выдирал из земли с корнем, обрывал лепестки и листья, комкал, растирал в зеленую осклизлую кашицу, а потом еще и топтал.

А когда раздражалась гроза, Мец норовил всеми правдами и неправдами выбраться из больницы и встать посреди двора, задрав голову к небу. Раскаты грома и молнии его не пугали – казалось, он ждал их с нетерпением.

– Смерти ищет никак? – сказал один молодой санитар, увидев это впервые.

Симеоновой же думалось, что ищет Мец чего-то другого, а не смерти... может быть, интуитивно знает или догадывается, что удар молнии способен не только убить. Она слышала истории о людях, которых «перст бога-громовника» надеял поистине сверхъестественными способностями.

И вот Мец внезапно переменился. Ромашки топтать перестал, грозу больше не ловил, а главное, старательно таил от окружающих ту напряженную осмысленность, которая иногда мелькала в его глазах. А началось все после обморока, который вдруг сделался с Мецем во время профессорского обхода.

Как всегда, светило медицины сопровождало было свитой ассистентов, докторов и студентов-практикантов. В отделении, где лежал Мец, палаты были не слишком велики: на четыре-пять человек, – поэтому между кроватями вмиг сделалось тесно.

Один практикант, желавший пробраться поближе к профессору, чтобы не пропустить ни слова, нечаянно натолкнулся на него. Профессор болезненно потер бок:

– Что это у вас в кармане халата, молодой человек? Такое впечатление, будто кирпич.

– Извините, товарищ профессор, это книжка, – покраснел практикант.

– Неужто от «Введения в психиатрию» оторваться не можете? – поднял брови профессор, и в свите послышались смешки: этот обязательный к изучению учебник принадлежал перу самого светила.

– Н-нет... – стыдливо признался студент. – Это худо... художественная литература.

– Что? – насупился профессор. – К изящной словесности тяготеете? Времени свободного в избытке? Я в ваши годы ничего не читал, кроме литературы обязательной! А уж ежели снисходил до художественной, то непременно чтобы речь в книжке шла о врачах. Например, Куприна читал – его «Чудесный доктор» посвящен великому нашему доктору Пирогову, слышали вы это, дорогой читатель?

– Так ведь это и есть Куприн! – радостно вскричал «дорогой читатель», буквально выдирая книжку из кармана халата. – Вот! Здесь и «Чудесный доктор», и «Слон», и «Поединок», и...

– «Поединок»? – перебил профессор. – Никогда не любил эту вещь. Впрочем, там немало глубоких рассуждений о

жизни и смерти...

И он процитировал с элегантною небрежностью, делавшей честь его прекрасной памяти:

– «Все на свете проходит, пройдет и ваша боль, и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Нет, убийство – всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не брезгливое отвращение к крови и трупам, – нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую радость жизни!»

Профессор окинул взглядом восхищенную, хотя и несколько озадаченную аудиторию и пояснил:

– Не вредно бы нашим порою избыточно лихим хирургам помнить эти слова Назанского подпоручику Ромашову, который собирался стреляться...

Он не договорил.

Больной Мец, доселе спокойно лежавший на койке, внезапно сорвался с нее, вытянулся во весь рост и с поистине безумным, отчаянным выражением принялся тереть свой лоб, как если бы на нем была запечатлена некая позорная печать, которую он во что бы то ни стало должен был уничтожить. Однако, не закончив дела, грянулся оземь без чувств.

Поднялась суматоха, которую профессор не без изящества разрядил, сказавши, когда Меца подняли, вновь водворили в постель и привели в себя с помощью нашатырного

спирта:

– Вот вам, друзья мои, еще одно доказательство того, что ни в коем случае не следует смешивать работу и развлечения, а изящная словесность порою может причинить вред. Отныне в лечебнице *nil nisi*¹⁰ специальной литературы, в частности «Введения в психиатрию»!

Тем дело и кончилось, и одна лишь доктор Симеонова, наблюдая некоторые перемены в поведении Меца, предполагала, что именно этот обморок каким-то образом повлиял на пробуждение его памяти.

Она не ошиблась... Вот только для больного это было не просто пробуждение памяти! Воспоминания рухнули на него – и погребли под собой. Так обвал на горной тропе погребает случайного путника. И, подобно этому путнику, который пытается спастись, разбирая камни, Мец теперь пытался разобрать свои воспоминания, осваиваясь с этой фамилией, вернее, кличкой – Ромашов, которая произвела на него такое потрясающее впечатление и с которой в его жизни было связано столь многое.

В былые времена ее знали кроме него лишь несколько человек. Теперь в живых, возможно, не осталось из них никого... И никому не известно о предательстве, которое он совершил много лет назад, совсем юным, – из зависти и ревности согласившись сделаться орудием в руках Виктора

¹⁰ Ничего, кроме (*лат.*).

Артемьева, незаурядной личности, оккультиста, ставшего на службу Советской власти и в меру своих немалых сил защищавшего ее от врагов – таких же могучих оккультистов, ненавидящих разрушителей былого величия России. Сигнальное слово «Ромашов» пробуждало телепатические способности Павла Меца, а для него оно стало символом предательства – предательства дружбы, любви и милосердия. Словно заклеянный преступник, он не в силах был избавиться от этой клички, которой называл себя даже мысленно, которая приросла к нему навеки. И сейчас Мец не мог вполне порадоваться возвращению памяти: ведь это означало для него и возвращение тяжкого раскаяния... а главное, необходимость исполнения нелегкого задания.

В начале лета 1937 года, когда Мец-Ромашов служил лейтенантом ГУГБ НКВД, он получил приказ разыскать исчезнувших детей своего старинного друга и столь же старинного врага Дмитрия Егорова-Грозы и его жены Лизы, любовь к которой мешалась в душе Ромашова с ненавистью. Эти двое – Гроза и его жена – обладали способностями, рядом с которыми телепатический талант Ромашова был просто ничтожным. Если дети, пропавшие после гибели родителей, унаследовали их способности хотя бы в некоторой степени, Особый секретный отдел НКВД был более чем заинтересован заполучить малышей к себе! Проникновение в их память могло бы открыть тайны заговора оккультистов против Сталина, в котором предположительно участвовал Гроза и в кото-

ром могла быть замешана немецкая разведка. Да и вообще, наследников таланта Грозы следовало или воспитывать под жестким контролем партии и НКВД, или – в случае невозможности этого – уничтожить. У Советской власти и без того достаточно врагов, чтобы допустить усиление их рядов магическими способностями детей Грозы!

Ромашов был выведен из строя в ту минуту, когда уже нашел сына Грозы и пытался задержать человека, который скрывал его: доктора Виктора Панкратова. Ромашов проник в его разум, разглядел в его воспоминаниях лицо девушки, которая прятала у себя дочь Грозы... Именно в это мгновение разъяренный Панкратов ударил Ромашова так, что, как говорится, весь разум ему отшиб.

И вот теперь Ромашов должен начинать все сначала!

Однако кое-что для него изменилось, и самым радикальным образом. Накануне схватки с Панкратовым он совершил два случайных убийства, и, конечно, от уголовного преследования его спасла только психиатрическая лечебница. А если станет известно, что память к нему вернулась, не миновать тюрьмы, а то сразу и стенки. Поэтому он намеревался скрывать свое выздоровление сколь возможно долго.

Первым делом Ромашов хотел узнать, не утратил ли он своих телепатических способностей. К сожалению, после первых же опытов стало ясно, что утратил... Однако они могли вернуться так же неожиданно, как пропали: такое с ним уже случалось, и он снова надеялся на лучшее.

Теперь, обретя рассудок, Ромашов жадно прислушивался к разговорам санитаров и врачей и узнал о том, что с июня месяца идет война с фашистами, армия в боях, формируются отряды народного ополчения. Он украдкой пользовался любой возможностью заглянуть в газеты, пусть и старые, где-то случайно завалившиеся: пытался восстановить события, которые происходили за время его «отсутствия» в мире здоровых людей.

Однажды ему попалась на глаза прошлогодняя, еще за февраль 1940 года, «Правда», которую Ромашов мгновенно просмотрел и узнал новости, совершенно его потрясшие. И начальник 2-го оперативного отдела ГУГБ НКВД Николай Галактионович Николаев-Журид, и начальник 9-го Специального отдела Исаак Ильич Шапиро, которые знали о поисках Ромашовым детей Грозы, были осуждены и расстреляны как враги народа. Глеба Ивановича Бокия, бывшего начальника Спецотдела, дававшего это задание Ромашову, арестовали еще в июне 1937-го, и о его участи не составляло труда догадаться. Ромашов даже не знал, существует ли вообще до сих пор Спецотдел, однако он почти не сомневался, что детьми Грозы теперь никто не интересуется, где бы они ни были. Их наверняка не нашли. Все следы, все подходы к ним держал в голове только он. После того, как Ромашов рухнул в бездны беспамятства, этими поисками скорее всего заниматься было некому, а потом стало и вовсе не до них: аресты руководителей основных отделов НКВД, война...

Но дети Грозы живы, растут! Ромашов знал это, чувствовал всем существом своим! Может быть, он больше и не был телепатом, однако оставался человеком, и сердце его по-прежнему кровоточило от ревности, зависти и желания восторжествовать над теми, кто презирал его за предательство.

Строго говоря, теперь Ромашов мог сам решать, продолжать поиски детей или нет. И решил – безоговорочно да! Продолжать! На службу он вернуться не мог: там его ждет арест за убийство. Однако, если он отыщет этих малышей и сможет доказать, что они наследники Грозы в полном смысле слова и могут быть полезны НКВД, это хотя бы отчасти его реабилитирует. В конце концов, даже сестер Галю и Клаву Красковых он убил в то время, когда искал детей! Да если еще будут задержаны люди, которые их скрывали... Одного Ромашов знал точно, это Виктор Панкратов, имя женщины он выбьет из доктора, стоит только до него добраться! А добраться очень даже стоит, и не только из-за сына Грозы, а чтобы отомстить Панкратову за тот удар!

Планы роились, роились в голове, Ромашов уже видел свою будущую победу и торжество... Однако, чтобы осуществить все эти планы, нужно было сначала сбежать из больницы. Причем умудриться сделать это так, чтобы его не сразу бросились искать. А до побега следует вести себя тихо, как можно тише и послушней, чтобы не провиниться даже в малости, чтобы не испытать ужас обертывания мокрой простыней, которые в Кашенко использовали вместо смирительных

рубашек и применяли при всякой провинности.

Москва, 1939–1941 годы

Постепенно Виктор Панкратов сделался своим человеком в квартире Екатерины Максимовны Ковалевой, матери Тамары. Доктор не уставал напоминать, что Тамара рожала настолько тяжело, что никто не был уверен, выживет ли она сама и выживет ли ребенок. К счастью, все закончилось благополучно, это правда, однако и мать, и сын по-прежнему нуждаются во врачебном присмотре. А поскольку он принимал роды, то чувствует особую ответственность за здоровье Тамары и Саши.

Ну что ж, его заботы принимались с благодарностью, а когда заболела Екатерина Максимовна и ей понадобился постоянный уход врача, – с благодарностью двойной!

Слов нет, Тамара была красавица, милая, умная, и Панкратову не составляло труда делать вид, что именно ради нее он беспрестанно таскается в этот желтый обшарпанный трехэтажный дом на Спартаковской, хотя приходил он поначалу только ради Саши. Но потом он и в самом деле влюбился в Тамару и порадовался тому, что муж ее возревновал и возбудил дело о разводе.

Как же все удачно складывалось, думал Панкратов, просто великолепно! Он женится на Тамаре – и Сашка станет его сыном. Теперь можно совершенно спокойно, на закон-

ных основаниях, заботиться о нем... Все как было Виктору Панкратову велено.

Доктор никогда не задумывался над тем, кто, собственно, отдал ему такой приказ. Это было неважно. Судьбоносные приказы не обсуждают – их просто исполняют! Правда, иногда в его снах возникало лицо какой-то русоволосой женщины с родинкой в уголке рта и мужчины с нахмуренными, а может быть, сросшимися на переносице бровями, и Панкратов понимал, что это лица тех, кто велел ему заботиться о Саше, но наступало утро – и вещие сны забывались.

Но вот Екатерина Максимовна умерла, развод с Морозовым был получен, день свадьбы Тамары и Виктора Панкратова назначен на июль 1941 года – следовало для приличия выждать хотя бы год после похорон. Впрочем, Виктор уже поселился у Тамары, в свободное от дежурств время гулял с Сашей и все чаще думал о том, как ему повезло с этим невесть откуда взявшимся сыном, потому что мальчишка оказался просто чудесный.

В нем было что-то необычайно располагающее. Панкратов еще не видел человека, который не улыбнулся бы Саше и с удовольствием не оглянулся ему вслед. Он словно бы излучал доброту, его любили все... Кроме, кажется, соседки с первого этажа, Люси Абрамец.

Похоже, она чуяла, что дело с этой самозабвенной привязанностью Панкратова к чужому ребенку нечисто, однако, поскольку истинная причина такой привязанности вообще

не могла быть заподозрена, Люся шла проторенной мещанской тропой и немало крови попортила и самой Тамаре, и покойной Екатерине Максимовне сплетнями на тему, что недаром, дескать, кавторанг Морозов развелся с женой-изменницей. Панкратов же полагал, что дело было в элементарной женской зависти одинокой коротконогой дурнушки к высокой и стройной красавице, вокруг которой кипели мужские страсти. Так или иначе, Саша всегда куксился при виде Люси Абрамец и отворачивался от нее, даже когда она строила из себя добренькую тетеньку и норовила сделать ему «козу». Этих «коз» Саша вообще терпеть не мог, тем более – сделанных неприятными ему людьми: сразу начинал сердито орать.

Вообще же он был на диво спокоен, вполне мог играть один, не досаждая взрослым, а когда чуть подрос, страстно полюбил книги. Взрослые часто читали ему: он обожал Пушкина и уже в год с упоением слушал по сотне раз свои самые любимые «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», а едва научившись говорить, твердил их наизусть, хотя, очень может быть, не все в них понимал.

Говорить он начал рано и сразу очень четко, осмысленно, только некоторые слова уморительно переиначивал. А вообще красота слова завораживала его... А еще красота церковных песнопений.

В 1941 году на Пасху в Елоховской церкви, поблизости от которой еще пять лет тому назад митрополит Сергей Стра-

городский, глава Московского патриархата, устроил свою резиденцию, почему храм и не закрыли, разрешили петь выдающимся оперным и камерным голосам: Козловскому, Барсовой и Михайлову – особенно ценимому церковными регентами за его уникальный бас-профундо¹¹. Таким образом, сугубо церковному мероприятию придавался отчасти светский характер, тем более что Барсова, к примеру, стала депутатом Верховного Совета РСФСР первого созыва, Козловский считался любимым певцом вождя, а Михайлов недавно получил Сталинскую премию. Этим людям было дозволено очень многое!

Вот и в один апрельский день (Пасха в 1941 году приходилась на 20 апреля) Саша услышал с улицы распевки – да так и потянулся к церкви:

– Песенки! Песенки красивые! Пойдем слушать!

Тамара послушно взяла его на руки и вошла в ограду. Однако пение тотчас прекратилось. Слышно было, как Козловский вдруг закашлялся и никак не мог остановиться: видимо, поперхнулся.

Тамара хотела уйти, но Саша так и рвался из рук:

– Пойдем туда! Пойдем!

Тамара несмело вошла в храм, потом пробралась меж толпившимися в дверях людьми... Саша, увидев огоньки свечей, что-то восторженно воскликнул, засмеялся радостно.

Козловский, стоявший с побагровевшим лицом, внезапно

¹¹ Бас-профундо – то есть глубокий бас, самый низкий мужской голос.

перестал кашлять и отдышался.

– Чуток не помер, – сказал он полунасмешливо, полуиспуганно словно бы не своим, мягким и высоким голосом, а низким, огрубевшим полубасом.

– Ты никак до моих регистров добираться? – мрачно, просто-таки по-мефистофельски грохнул своим «профундо» Михайлов, но Козловский только отмахнулся и пробормотал обеспокоенно:

– Неужто связки сорвал? Беда...

– Попробуйте еще раз, Иван Семенович, – предложил регент, сделав знак церковному хору соблюдать тишину.

– Боюсь, – пробормотал Козловский, столь осторожно касаясь горла, словно оно и впрямь было хрустальным (именно так частенько называли поклонники этого великого певца его горло).

Саша вдруг захлопал в ладоши.

– Слышь-ка, Ванюша, просят тебя, – засмеялась Калерия Владимировна Барсова (она, правда, предпочитала, чтобы ее называли Валерией, но это к делу не относится).

Козловский поглядел на Сашу – и вдруг пропел до того легко и свободно, словно и не кашлял, не хрипел минуту назад:

Всякое дыхание да хвалит Господа.

Хвалите Господа с небес,

Хвалите Его в вышних.

Тебе подобает песнь Богу.

Хвалите Его, вси Ангели Его,
Хвалите Его, вся Силы Его...

Кругом заплодировали, а Козловский помахал Тамаре и Саше рукой и засмеялся:

– Спасибо, ангел мой! Исцелил!

Саша вдруг сладко зевнул, опустил голову Тамаре на плечо, смежил веки...

– Устал небось ребенок, тебя исцеляючи, – усмехнулась Барсова. – Однако же не станем тянуть, товарищи, еще дела есть!

Регент послушно воздел руки, и хор грянул громогласно:

Поем Твою, Христе, спасительную страсть
И славим Твое Воскресение...

Тамара поспешила выйти, боясь, что Сашенька проснется, однако его, чудилось, и пушками было не разбудить.

Дома она пересказала эту историю Панкратову, и тот глянул странно:

– А помнишь, как он все время около твоей мамы засыпал?

Тамара кивнула...

У Екатерины Максимовны был рак, и накануне смерти ее мучили жестокие боли. Она это скрывала с редкостным мужеством, однако иногда, в самые тяжелые минуты, просила, чтобы рядом с ней положили Сашу. Боли у нее странным об-

разом смирились, а Саша немедленно засыпал.

– Помнится мне, дед мой на колени свои больные кошку сажал, чтобы грела-врачевала, – посмеивалась Екатерина Максимовна, – вот так и Сашенька меня врачует.

Конечно, всерьез этого никто не принимал: думали, Екатерине Максимовне становится легче оттого, что любит внучка самозабвенно, да и он отвечал ей самой нежной любовью, вечно ластился, как котенок, и горько плакал, когда бабушка вдруг исчезла из дому и он никак не мог ее найти. Не понимал, что произошло, но словно чувствовал: на земле стало меньше человеком, которому был он, Саша, жизненно необходим.

Вспомнив об этом, Тамара и сказала Панкратову:

– Иногда мне кажется, что Саша и в самом деле твой сын. Ты врач – и он... какой-то исцеляющий, да?

Панкратов рассеянно кивнул, вглядываясь в спящего мальчика и пытаясь понять, в самом ли деле наделен этот ребенок неким тайным даром, и если да, не наследство ли это его загадочно погибших родителей.

Разумеется, ответа на этот вопрос найти он не мог, да и почему-то мысли об этом почти немедленно его оставили.

Вот так бывало всегда. Стоило поглубже о Сашке и его родителях задуматься, как кто-то словно бы выталкивал Панкратова из тех бездн, в которые он норовил погрузиться...

Москва, осень 1941 года

Москву бомбили все чаще. Сестры, врачи, санитарки (почти весь мужской персонал был уже мобилизован) по ночам дежурили на крыше и во дворе, готовые гасить «зажигалки». Когда проходила ночь очередного налета, все радовались, что больницу не тронули. Один Ромашов проклинал немецких летчиков, которые бомбили все, что угодно, кроме того, что было нужно разбомбить. Он с ненавистью смотрел в бессмысленные лица, окружившие его, его трясло от жутких криков, которые порою раздавались из палат, и выворачивало наизнанку от бестолковых разговоров, которые вели пациенты – чаще всего сами с собой. Смерть под бомбами стала бы для них благом, истинным избавлением, а для него налет означал возможность побега. Суматоха и паника позволят ему раздобыть одежду, а не явиться в Москву в этой жуткой пижаме, в которой его любой милиционер задержит.

Ромашов возненавидел дождливые ночи, когда заведомо не могло быть бомбежек: каждый вечер он неумело, но жарко молился о ясной луне, превращаясь в это время в такого же язычника, каким был его дед, лопарский нойд, то есть колдун, Пейвэ Мец. Однако фашистские бомбардировщики по-прежнему не интересовались бывшей Канатчиковой дачей! А лето тем временем шло к концу, и вот однажды случилось то, что Ромашов поначалу счел истинной катастро-

фой.

Ранним сентябрьским утром к больнице вдруг подкатили крытые грузовики, и санитары с врачами разбежались по палатам, помогая больным надевать казенные телогрейки прямо на пижамы, обувать казенные боты и нахлобучивать шапки. Пациентам объявили, что лечебница срочно эвакуируется в Горький¹² и некоторые другие города Горьковской области, потому что это здание займет госпиталь для раненых с черепно-мозговыми травмами.

Кто-то из больных понял, о чем речь, кто-то нет – это, впрочем, было неважно.

Везти пациентов намеревались именно на грузовиках, потому что железные дороги были перегружены; к тому же их постоянно бомбили.

Услышав об эвакуации, Ромашов похолодел.

Уехать в Горький? Или даже в Горьковскую область?! Да это смерти подобно. Как оттуда выбраться в Москву? Все его надежды рушатся...

И вдруг, в минуту полного отчаяния и ужаса, Ромашова озарило: да ведь это его шанс! Вот и настал тот момент, когда он сможет убежать! Во время погрузки!

Он затаился и ждал удобного мгновения. Больные стояли в колоннах на обочине дороги под охраной санитаров.

Ромашов взглянул в небо. Нет, на чудеса и появление бомбардировщиков рассчитывать не приходится. Надеяться

¹² С 1932 по 1990 г. так назывался Нижний Новгород.

нужно только на себя.

Он внимательно присматривался к тому, что происходит, как идет посадка. Это оказалось делом очень хлопотным, потому что многие пациенты боялись подниматься в высокие крытые кузова, их приходилось подсаживать, подталкивать, а иных запихивать туда чуть ли не силком. Дело осложнялось еще и тем, что всем выдали сухой паек: хлеб, который все убрали в самодельные «сидоры» – вещевые мешки, сделанные из наволочек, перевязанных веревками, – и некоторые пациенты, перенервничав, накинулись на хлеб и лихорадочно поедали его, думать не думая о предстоящей долгой дороге.

Спохватившись, санитары принялись отнимать этот хлеб, чтобы выдавать его на привалах, и суматоха, которая поднялась из-за этого, грозила вовсе сорвать эвакуацию.

Ромашов понял, что ждать больше нельзя. Воспользовавшись тем, что все внимание привлечено к потасовке больных и санитаров, он выскользнул из колонны и в два прыжка вернулся в здание больницы. Сейчас он ничем не рисковал: если заметят, то всего лишь отправят обратно в строй.

Однако повезло: больница оказалась пуста.

Ромашов спустился в подвал и кинулся к кладовой, где хранились вещи больных. Сейчас они были увязаны в большие мешки, их должны были вынести и погрузить в отдельный грузовик вместе с больничной документацией – в последнюю очередь, когда колонна машин с пациентами уже

тронется в путь.

Искать свою одежду было бессмысленно, да и не помнил Ромашов, во что был одет, когда столкнулся с Панкратовым. Точно, что не в форму, вот и все, что застряло в памяти. Форму он не любил, поэтому надевал редко, только уж когда не обойтись было без этого... Ну, теперь ему, возможно, уже никогда ее не надеть!

Развязал первый попавшийся мешок и напялил на себя более или менее подходящее по размеру исподнее, брюки, рубашку, пиджак, шапку и короткое пальто. Затем нашел в другом мешке ботинки, которые пришлось по ноге, и обулся, сначала разорвав на портянки больничные бязевые штаны от пижамы.

Он буквально физически ощущал, как летит время. В любую минуту в подвал мог кто-то войти, однако Ромашов не слишком об этом беспокоился. Он нашел в углу небольшой ломик и воспринял эту находку как подарок судьбы. Кто бы ни попытался ему мешать, он был готов убить этого человека. Ему уже приходилось убивать, так что он справится.

В глубине души Ромашов почти ожидал этого появления, этой помехи. Он помнил, какой необыкновенной силой, какой энергией наполнились его душа, разум и тело после того, как он уничтожил в Сокольниках двух сестер, Галю и Клаву... Возможно, новое убийство произведет на него такое же воскрешающее действие? Поможет вернуть утраченные силы, а главное, его сверхъестественные способности?

О да, он почти ждал чьего-нибудь появления в подвале!

Однако никто не пришел, и наконец Ромашов, прихватив свой «сидор» и пряча под пальто ломик, поднялся из подвала и прокрался к выходу.

Осторожно выглянул.

Суматоха улеглась, погрузка шла более или менее спокойно, но пройти сейчас по полянке к воротам было бы полнейшим безумием: сразу заметят.

Ромашов зашел в какой-то кабинет на первом этаже, увидел окно, ведущее на задний двор, сломал ломиком замок решетки, распахнул створки и выбрался вон, не забыв старательно прикрыть окно за собой, чтобы взлом не был замечен хотя бы на первый взгляд. Пригибаясь, промчался через двор, спрятался за сараем и огляделся.

Перелезть через ограду с колючей проволокой, пропущенной поверху, нечего было и думать. В главные ворота тоже не выйдешь...

Значит, надо ждать!

Ждать удобного момента.

Прошел примерно час, и Ромашов уже начал было нервничать, что не успеет выскользнуть в ворота до того, как колонна отправится и сторожа снова все закроют, когда какой-то больной, неуклюже влезавший в грузовик, вдруг сорвался наземь и заорал истошным голосом. То ли ушибся, то ли перепугался, то ли еще невесть что, однако завопил он жутко, и крик его мигом посеял панику среди других паци-

ентов. О, как знал, как помнил Ромашов страшное воздействие таких вот безумных воплей, которыми порою раздражались его товарищи по несчастью! Стоило начать одному, как вскоре ор охватывал все палаты. Сколько раз, бывало, он и сам начинал кричать, биться головой об стену в приступах внезапно налетевшего ужаса перед... Перед чем? Перед кем?! В том-то и состоял ужас, что непонятна была его причина! И даже сейчас Ромашов, который хотел считать себя вполне здоровым человеком, с трудом удержался от того, чтобы не заорать вместе с остальными!

Однако ему все же удалось справиться с собой. Тошнило и трясло, ноги подкашивались, однако он все-таки заставил себя перебежать через двор и броситься к толпе больных и санитаров с таким видом, словно он и сам был одним из таких санитаров и намеревался помочь. В толпе ему удалось скользнуть под грузовик и проворно переползти на другую сторону дороги. Вскочил, метнулся в кусты – и тут его словно тронул кто-то за плечо!

Он в ужасе обернулся, сунув руку под пальто, готовясь выхватить ломик и прикончить того, кто посмеет его остановить, – однако рядом никого не было. Только шагах в двадцати стояла около грузовика доктор Симеонова в белом халате, на который было наброшено пальтецо, с седой косой, выпавшей из-под колпака...

Минуту, не меньше, они смотрели в глаза друг другу, а потом Симеонова слабо улыбнулась, кивнула – и, повернув-

шись, зашла за грузовик.

Значит, Симеонова поняла, что он уже здоров? Значит, решила помочь ему? Но почему?!

Ромашов не знал, но сейчас ему было не до размышлений об этом. Симеонова могла передумать, кто-то еще мог заметить его побег – нет, надо было не столбом стоять, а бежать, бежать в лес, как можно скорей и как можно дальше!

Ромашов ринулся вперед. Сначала то и дело оглядывался, потом понял, что погони нет и не будет. Остановился, перевел дух...

На глаза попался какой-то бочажок, из которого он с удовольствием напился: от бега и страха пересохло горло.

Этот бочажок был таким же чудом, как поведение доктора Симеоновой, и Ромашов робко поверил в то, что удача теперь на его стороне.

Он сообразил, где должна находиться Москва, и повернул в том направлении. И в это мгновение почему-то вспомнил, что доктора Симеонову зовут Елизаветой Николаевной.

Как Лизу, жену Грозы, Лизу Трапезникову, которую Павел Мец некогда без памяти любил, а потом, став Ромашовым, предал и ее саму, и ее отца, и Грозу...

И у Лизы точно так же иногда выпадала коса из прически...

Он резко мотнул головой, отгоняя непрошенные, губительные мысли, и они отлетели прочь вместе со слезами, которые навернулись было на глаза.

Ромашов пошел к Москве. Сначала пробирался по лесу, но примерно через километр вернулся к дороге.

По шоссе, пусть даже навстречу почти непрерывно мчались машины с грузом, военными или эвакуированными людьми, идти оказалось куда легче!

Начало смеркаться, однако Ромашов все шел и шел, остановившись только дважды, чтобы поесть. И все-таки войти в Москву до комендантского часа не удалось. Пришлось провести ночь в поле, в недавно сметанном стогу, где оказалось так тепло, так уютно, что Ромашов впервые за много дней, месяцев и даже лет уснул спокойным, безмятежным сном человека, которому наконец-то, наконец-то повезло.

Москва, июнь 1941 года

Еще с субботы Саша вдруг начал канючить:

– В Соколики хочу, в Соколики!

Так он называл Сокольники, куда Панкратов и Тамара очень любили ездить. Там жила тетка Виктора – его единственная родственница. Она была завзятая огородница, и от нее никогда не возвращались без полной авоськи овощей, что было немалым подспорьем в хозяйстве, ибо насмерть обиженный Морозов отозвал свой денежный аттестат после развода, Тамара еще не работала, а зарплата Панкратова была все же невелика для троих. Алименты же Морозова решили перечислять на сберегательную книжку, которую от-

крыли на Сашино имя. Это было предложение Панкратова, который нипочем не хотел пользоваться деньгами человека, которого он так ужасно обманул и вынудил содержать чужого ребенка. Странно, что Морозову было бы легче пережить смерть собственного сына, чем воспитывать *не своего*...

– А что бы нам и в самом деле не съездить завтра в Сокольники? – сказал Панкратов. – Тетя Наташа еще на той неделе звонила и приглашала за клубникой, да я все дежурил да дежурил. Поехали, а то нынче клубника ранняя, отойдет – Сашка и не поест толком.

Тамара засмеялась:

– Сашка в нашем доме главный человек!

– А разве не так? – изумился Панкратов. – Конечно, главный!

Тамара смеялась, а он оставался серьезным. Всего-навсего излагал принцип своей жизни: поступать так, как нужно Сашке. Если он чего-то хочет, значит, это ему нужно. И должно быть исполнено!

Ну, с утра воскресенья, 22 июня, купили для тети Наташи конфет и свежего хлеба в ближайшей булочной (в Сокольниках был один только магазин, да и тот совсем плохонький, даже хлеб туда завозили вечно какой-то непеченный, что ж о конфетах говорить?), сели на 43-й трамвай и поехали.

Было еще очень рано, едва восемь: вечером Панкратову предстояло выйти на ночное дежурство, надо было вернуться не позднее пяти, чтобы успеть хоть немного поспать.

Тетя Наташа жила почти на пересечении 1-го Лучевого просека с Поперечным просеком, так что от трамвайной остановки пришлось еще довольно долго идти.

Наконец пришли, набрали клубники – и на варенье тете Наташе, и с собой целую корзинку. Хозяйка взялась накрывать стол к обеду, а гостей выгнала пока погулять.

– Нечего тебе свою красоту около моей черной печки губить, – сказала она Тамаре, которая порывалась помочь. – Подышите лучше свежим воздухом.

– Ой, а Сашенька-то где? – спохватилась Тамара.

– Да где ж ему быть, – пожалала плечами тетя Наташа. – Небось на «завалины» таращится, как обычно.

По соседству с домом тети Наташи находился заброшенный участок, окруженный почти повалившимся забором, весь поросший травищей, с замшелыми, пережившими свой век деревьями и торчащими среди них обгорелыми останками строения.

Об этом доме ходили дурные слухи: дескать, жил тут раньше старый учитель, а к нему приезжали из Москвы колдуны, которые злоумышляли против Советской власти и вершили свои черные колдовские дела на чердаке. Ну, однажды чекисты их накрыли – да всех и перестреляли прямо в доме. Тетя Наташа переехала в Сокольники позднее, когда вышла замуж, и никто из новой родни ей ничего про загадочный дом и страшных колдунов рассказывать не хотел. Чуть не десять лет после этого убийства дом стоял с заколоченными

окнами, пустой, никто в нем не появлялся, а потом он взял да и загорелся от молнии во время ужасной грозы. Тушить его было некому, и тетя Наташа рассказывала, что пережила немало пугающих минут, когда огонь мог перекинуться на ее дом.

Нет, обошлось – пожар погас от дождя. Было это лет четырнадцать назад, однако за все это время почему-то никто не начал здесь строиться, хотя место само по себе было хорошее и сад велик. С тех пор обгорелые развалины так и чернели бесхозно. Даже мальчишки не лазили сюда за яблоками; постепенно сад одичал.

Поначалу тетя Наташа такого соседства побаивалась, а потом попривыкла к нему.

К этим развалинам, которые Саша называл «завалинами», он питал совершенно необъяснимый интерес. Был готов отказаться от прогулки в лес за грибами, от игр и даже от чтения, только бы ему не мешали влезть на нижнюю перекладину тети-Наташиной изгороди и, держась за верхнюю планку, заглядывать между досками забора и смотреть, смотреть на обгорелые останки дома, торчащие среди крапивы. Так что можно было даже не спрашивать о том, где он находится и где окажется.

Однако около забора Саши не оказалось. Да и самого забора не было – он лежал поваленным.

– Да когда же? – ахнула тетя Наташа. – Когда он упал? Я ж тут полчаса назад проходила!

– А Саша? – вскрикнула Тамара. – Где Саша?

Но Панкратов уже увидел слегка раздвинутые заросли крапивы – и ринулся туда, онемев и заледенев от страха. Если Саша прошел здесь, он весь изжален жгучими листьями. Почему не кричал, не звал на помощь? Может быть, у него болевой шок? А что, если он все же добрался до развалин – и провалился в какую-нибудь опасную яму между обгоревшими половицами? Или на него обрушилась подточенная пламенем стена?!

И в этот миг, когда воображаемые страхи Панкратова достигли апогея, он вдруг замер – и ощутил непостижимое, словно явившееся откуда-то извне и овладевшее им спокойствие. Смог перевести дух и пойти дальше, расшвыривая крапивные стебли с пути и осторожно зовя Сашу.

– Саша! – закричала срывающимся голосом Тамара, которая пробиралась следом за Панкратовым, проваливаясь каблуками в землю и плача от боли: крапива безжалостно жгла ее голые ноги.

– Я тут! – раздался наконец спокойный голос Саши, и Панкратов разглядел среди бурьяна обугленные черные останки еще одного строения. Возможно, здесь раньше помещался сарайчик или летняя кухня. Да, скорее всего, именно кухня, потому что виден был остов печи с проржавевшей полуразвалившейся трубой. И рядом с этой печкой возился Саша, очень деловито и сосредоточенно пытаясь что-то достать из-под нее.

– Господи, Сашенька! – прорыдала сзади Тамара, тоже увидевшая его, однако Панкратов махнул ей, не оборачиваясь:

– Погоди. Стой там.

Что-то было в его голосе особенное... Тамара, несмотря на свое беспокойство за мальчика, замерла.

Панкратов в несколько прыжков добежал до Саши – перемазанного застарелой гарью, пыхтящего от усердия, – и разглядел, что мальчик старательно выколупывает из-под печки небольшой предмет, обернутый брезентом.

Панкратов присел рядом на корточки и с силой рванул застрявший между кирпичами сверток.

– Что же там такое? – пробормотал он задумчиво, а Саша уверенно ответил:

– Книжка и крестик.

Панкратов осторожно развернул брезент. Это оказались исписанные синим химическим карандашом листы пожелтевшей бумаги, сшитые вместе черными сапожными нитками в толстую тетрадь.

На пол скользнул потертый кожаный мешочек, туго перетянутый шелковым замызганным шнурком. Саша мигом его подхватил, начал распутывать узелок, а Панкратов взглянул на первую страницу тетрадки. Крупный, четкий, торопливый почерк легко было разобрать, и стоило Панкратову начать читать, как он уже не мог от этих строк оторваться:

«Хоть и сказал некогда Саровский Святой, что от молчания еще никто не раскаивался, я все же решил свое молчание, наконец, нарушить и описать то, что происходило тогда, в апреле 1927 года, в Сарове. К этому меня подтолкнули Вальтер и Лиза, самые близкие мне люди. Удивительно, до чего же четко все запомнилось, а ведь уже десять лет прошло! Гедеон, я слышал, сгинул где-то в Казахстане, в лагере. Судьба отца Киприана так же трагична. Святые мученики! Вечная вам память.

О Матвееве я ничего не знаю.

Анюта, слава богу, жива, она по-прежнему в Дивееве. Теперь она зовется матушка Анна...

Перед тем как мы простились, Гедеон и Анюта показали мне место, где они спрятали то, что было нами похищено. Всего только несколько человек посвящены в эту тайну. Теперь с каждым годом их остается все меньше. Неведомо, когда настанет время, предсказанное вещим старцем, – время его подлинного возвращения. Доживет ли до той поры хоть один-единственный участник удивительных событий прошлого? Не знаю... Тем более нужно рассказать об этом!»

Панкратову почудилось, будто кто-то взял его за руку и повел – повел темным коридором, где пахло талым снегом, свежим ветром, кровью... И почему-то ладаном.

Он повернул голову и взгляделся в лицо своего проводника.

Это был молодой еще, лет двадцати пяти, мужчина в черной косоворотке, в потертом полушубке и брюках, заправленных в поношенные сапоги. Худощавый, со впалыми щеками, сероглазый, с напряженно стиснутым ртом. Брови срослись на переносице, придавая ему хмурый вид.

– Вы кто? – испуганно пробормотал Панкратов, однако незнакомец промолчал и только слабо улыбнулся в ответ...

– Витя! Сашенька! – раздался в это мгновение перепуганный голос Тамары – и все исчезло, осталось только ощущение чьей-то руки в руке Панкратова.

Он опустил глаза – оказывается, за руку его держал Саша, очень озабоченный и необычайно смешной с этой его перемазанной рожцей.

Панкратов сунул тетрадку под мышку, подхватил мальчика, быстро осмотрел голые ножки, ручки – они были невероятно грязны, однако ни следа крапивных ожогов на них не оказалось. Можно было подумать, Саша над крапивными зарослями просто перелетел!

А вот Тамара... На ней живого места не было: ноги, руки в красных пятнах, и уже кое-где вспухли волдыри. Даже лицо почему-то оказалось обожжено. Зрачки расширились от боли и страха, она коротко, тяжело дышала, пыталась что-то сказать, но могла только пронзительно, истерично выкрикивать:

– Витя, Сашенька! – и заливаться слезами. Страх за ребенка и боль словно бы лишили ее рассудка.

Саша вдруг резко потянулся к Тамаре. Панкратов подошел, обнял ее одной рукой, не выпуская Сашу, который тоже обнимал ее.

Панкратов тихо, успокаивающе бормотал что-то, осторожно поглаживая Тамару по спине и чувствуя, что затрудненное дыхание постепенно становится спокойнее, бешеное сердцебиение замедляется.

Тамара наконец перестала конвульсивно вздрагивать; тогда Панкратов чуть отстранился и взглянул на нее. Лицо оставалось очень бледным, однако следа ожогов уже не было заметно. Он покосился на ее руки – ожоги исчезли и с них. И с ног сошли волдыри – минут пять еще подержались красноватые пятна, но вскоре и они пропали.

Саша пару раз зевнул – и заснул, положив голову на плечо Панкратова.

Только сейчас Виктор заметил, что на шее мальчика надет старенький медный крестик на черном шелковом шнурке, а из кармана торчит тот самый кожаный мешочек, который выпал из тетради. Значит, в мешочке был крест. И Саша об этом знал заранее. «Книжка и крестик», – сказал он, когда Панкратов пытался угадать, что в свертке.

Ну ладно, про «книжку» он мог угадать, нащупав ее через брезент, а как про крестик можно было угадать?!

Панкратов и Тамара переглянулись, не только ничего не понимая, но и не желая даже пытаться хоть что-то понять, не желая вообще пускаться в какие-то объяснения.

К их великому изумлению, тетя Наташа тоже обошла молчанием случившееся и спокойно пригласила всех за стол.

Было чуть за полдень, но проголодаться успели крепко, отчасти от пережитого волнения. Саша, впрочем, спал; его решили не будить, отнесли в спальенку и положили на хозяйкину кровать.

Только сели за стол, как оборвалась музыка, лившаяся из тарелки громкоговорителя, висевшей на столбе практически рядом с домом тети Наташи, и торжественный голос Левитана объявил, что сейчас будет передано правительственное сообщение. И Панкратов вдруг почувствовал, что Саша запросился сегодня в «Соколики» и полез доставать странную тетрадку из-под печки в «завалинах» именно потому, что сейчас выступит народный комиссар иностранных дел СССР Молотов и скажет советской стране и советскому народу нечто настолько страшное, что перевернет жизнь всех и каждого и поставит лицом к лицу с чем-то необратимым и неуправляемым, а все минувшие события сделает незначительными, и если кто-то не успел совершить что-то жизненно важное, он должен поспешить.

Вот так и Саша поспешил...

Спустя несколько мгновений Панкратов, Тамара и тетя Наташа, онемев от ужаса, узнали о том, что ночью германские войска без объявления войны перешли границу СССР и обрушили на города и села бомбовые удары.

– Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет

за нами! – закончил свою речь Молотов, и все трое еще несколько минут безмолвно просидели за столом, пытаясь осмыслить то, с чем вдруг столкнула их судьба.

Потом начали спешно собираться в Москву, даже недоев: Панкратову теперь следовало явиться на призывной пункт как медработнику и предстояло решать, как теперь быть, что делать Тамаре и Саше.

– Неужели Москву будут бомбить? – дрожащим голосом спросила Тамара.

Панкратов мрачно пожал плечами.

– Если что, перебирайтесь ко мне! – горячо предложила тетя Наташа, протягивая Тамаре корзинку с клубникой и авоську с морковкой и свеклой, выдернутыми второпях. – Кому мы тут нужны, в нашей глуши деревенской? На нас и бомбы тратить жалко будет!

Саша вдруг проснулся и расплакался; успокоили его только в трамвае, когда отъехали от Сокольников уже довольно далеко.

Из записок Грозы

Хоть и сказал некогда Саровский Святой, что от молчания еще никто не раскаивался, я все же решил свое молчание, наконец, нарушить и описать то, что происходило тогда, в апреле 1927 года, в Сарове. К этому меня подтолкнули Вальтер и Лиза, самые близкие мне люди. Удивительно, до

чего же четко все запомнилось, а ведь уже десять лет прошло! Гедеон, я слышал, сгинул где-то в Казахстане, в лагере. Судьба отца Киприана так же трагична. Святые мученики! Вечная вам память.

О Матвееве я ничего не знаю.

Анюта, слава богу, жива, она по-прежнему в Дивееве. Теперь она зовется матушка Анна...

Перед тем как мы простились, Гедеон и Анюта показали мне место, где они спрятали то, что было нами похищено. Всего только несколько человек посвящены в эту тайну. Теперь с каждым годом их остается все меньше. Неведомо, когда настанет время, предсказанное вещим старцем, – время его подлинного возвращения. Доживет ли до той поры хоть один-единственный участник удивительных событий прошлого? Не знаю... Тем более нужно рассказать об этом!

Я долго думал, где лучше всего спрятать тетрадку с этими записями, чтобы ее никто не нашел. Подсказала Лиза. Я и не вспомнил бы про Сокольники и про эти развалины, с которыми для нас так многое связано. Наверное, потому, что очень хотел забыть те кошмарные события. Как странно будет побывать в Сокольниках снова... Наверное, до сих пор блуждают вокруг того дома тени прошлого. Под их охраною мои записки и будут лежать до поры до времени. Надеюсь, все же настанет день, когда я смогу их достать и прочесть эту странную и необыкновенную историю про то, как я помогал

спасти драгоценные реликвии, моим детям. Сыну и дочери! Лиза уверена, что у нас родится двойня, и мечтает, как будет петь им эту чудесную колыбельную: «Спи, моя радость, усни...»

Если же страшные пророчества сбудутся, если со мной и Лизой что-нибудь случится, остается лишь уповать на то, что каким-то чудом тетрадку и крестик, точную копию того, который покоился на груди Саровского Святого, найдет человек, достойный узнать правду о том, что произошло тогда, в апреле 1927 года. «Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи одному», – сказал некогда праведник из Сарова. Вот для этого единственного неизвестного я и начинаю писать.

Все началось с того, что в декабре 1920 года внезапно и необъяснимо исчез на целый месяц Виктор Степанович Артемьев, начальник нашего Спецотдела.

О том, где он находился в это время, я узнал только через несколько лет: уже после смерти Артемьева в 1926 году Марианна, его дочь и двоюродная сестра Лизы, передала нам некие документы, из которых многое стало понятно. Сначала бумаги были запечатаны, однако сургуч на пакете оказался сломан.

Марианна, отводя глаза, пробормотала, мол, сломался сургуч нечаянно и бумаг, находящихся в пакете, она не трогала, однако Лиза не сомневалась, что Марианна сама сунула

нос в пакет и ради этого сломала печать.

Я не спорил: мы с Лизой отлично знали цену дочери Артемьева, которая не унаследовала от него ни способностей, ни твердости духа, ни силы характера, так же, как не унаследовала от своей матери ни грана порядочности и благородства – заполучила только ее необычайную красоту, которая совершенно лишала мужчин разума. Я тоже был этой красотой поражен, однако тогда было мне всего лет двенадцать или тринадцать. Лизу я встретил немного позже. И прежнее увлечение «Царевной-Лебедью», словно бы спорхнувшей с картин ныне забытого и запрещенного художника-эмигранта Сергея Соломко, умерло!

Зачем Марианне понадобилось вскрывать конверт, предназначенный ее отцом для другого человека, остается только гадать. Может быть, из праздного любопытства. Может быть, она надеялась найти там какие-нибудь ценные записи, которые могла бы выгодно продать Глебу Бокию, сменившему ее отца на посту начальника Спецотдела...

Однако ее ожидало разочарование. Там оказались только заметки Артемьева о его поездке в какой-то совершенно неинтересный Марианне Саров.

Может показаться странным, почему эта особа, столь же трусливая, сколь и неосторожная, не выбросила эти бумаги, едва заглянув в них. Ведь в них встречались замечания, настолько откровенные и опасные, что я счел бы их за провокацию, если бы услышал от самого Артемьева! Думаю, Ма-

рианна именно из страха не показала их Бокию. А впрочем, кто его знает, Артемьева! Возможно, он наложил на эти записи некое магическое заклятие, которое вынудило его дочь исполнить предсмертный приказ отца. От Артемьева можно было ожидать чего угодно...

Чтобы можно было лучше понять дальнейшее, я должен рассказать об этом человеке подробнее.

Его тайные способности были сильнее, чем мои, – хотя бы потому, что Артемьев не боялся убивать. Может быть, это ему даже нравилось. Я вспоминаю, как давно, еще в Сокольниках в 1918 году, Лиза однажды сказала мне: «Тебе трудно даже представить, что человека можно убить мгновенным излучением своей духовной силы, убить с помощью гипноза или телепатии, – ты к этому не готов. А они готовы! У них уже есть опыт уничтожения людей! И они не остановятся ни перед чем, чтобы победить».

Артемьев был именно из таких людей. Пусть его уже нет на свете, пусть я узнал о нем поразительные, потрясающие вещи, – я все равно не прощу ему минувшего! Не прощу того, что он совершил ночью 31 августа 1918 года, и того, что сделал с нами!

Мы с Лизой были заложниками Артемьева. Несколько лет он держал мою жену под своим страшным гипнотическим контролем, внушив, что за пределами Садового кольца ее ждет смерть. Однажды, уже летом 1919 года, мы решили вдвоем съездить в Сокольники, чтобы побывать на том ме-

сте, где некогда началась наша любовь. Но как только извозчик пересек Садовую-Спасскую и двинулся дальше по Домниковской к Каланчевской площади, Лиза потеряла сознание. У нее прерывалось дыхание, останавливалось сердце... Я сорвал голос, так кричал на извозчика, чтобы он скорей поворачивал. Стоило нам вернуться в пределы кольца, как Лиза начала дышать и очнулась.

Артемьев не скрывал, зачем сделал это.

Еще в восемнадцатом, сразу после гибели отца Лизы и моего учителя, Николая Александровича Трапезникова, едва поправившись после ранения, я сбежал из госпиталя и от охраны, которую ко мне приставил Артемьев. Лиза тогда лежала в одной частной психиатрической клинике в Гороховском переулке. Артемьев очень боялся, что я вообще исчезну из Москвы, но я Лизу никогда бы не бросил! Я прибилсь к беспризорникам, которые обитали в асфальтовых котлах на Садовой-Черногрязской – как раз неподалеку от Гороховского переулка. Меня заметили, не знаю кто (не удивлюсь, если это был Павел!), и поймали во время облавы.

Артемьев тогда заявил: если я снова исчезну, то Лиза отправится в тюрьму как дочь и пособница человека, замешанного в двух покушениях на Ленина. Ее сразу поставят к стенке.

Я поклялся, что не сбегу. Если бы речь шла только о моей собственной жизни, я, конечно, попытался бы, но жизнью Лизы я рисковать не собирался ни за что. Однако Артемьев

не мог вечно держать ее в больнице. К тому же он боялся меня. Мое здоровье восстановилось, а значит, восстановились и способности «бросать огонь». Артемьев не сомневался, что я попытаюсь его если не убить, то ранить, чтобы мы с Лизой могли скрыться. Этого он допустить не мог. Ему нужны были ее способности медиума! И он Лизе внушил под гипнозом этот страх смерти...

Теперь нам ничего не оставалось, как согласиться сотрудничать с Артемьевым.

Именно в те годы он начал заниматься организацией Спецотдела, который носил совершенно безобидное название шифровального.

У большевиков не было надежной системы шифровки секретных сообщений, а уж о том, чтобы находить ключи к чужим, речи вообще не шло. Поэтому Артемьев привлек к работе некоторых криптографов (специалистов по шифровке и дешифровке), которые служили еще в Третьем отделении императорской полиции и чудом остались живы после революции. С этого все и началось.

Однако с еще большим старанием Артемьев продолжал разрабатывать свою идею о внедрении коммунистических идей в массы с помощью оккультных действий и массового гипноза. Он искал помощников, причем не только таких, как я, которые работали с ним лишь потому, что он держал их за горло мертвой хваткой, но и тех, кто готов был сотрудничать с ним добровольно. Для этого ему и нам всем приходилось

буквально по улицам разыскивать подходящих людей.

Что и говорить, в Москве всегда обитало много всевозможных знахарей, шаманов, доморощенных чревовещателей, гадателей по рукам, фокусников, медиумов, гипнотизеров и спиритуалов, на каждом углу видевших призраков. После революции – как всегда в смутные годы! – количество их увеличилось. О таких людях ходили таинственные, порою баснословные слухи – вот по этим слухам их и выискивали. Очень многие из них оказывались истинными шарлатанами, однако встречались и весьма ценные личности, которых брали на работу в отдел. Но сначала их проверяли Артемьев и Барченко¹³, для чего в доме номер 1 в Фуркасовском переулке, где тогда размещался Спецотдел, существовала особая лаборатория под названием «черная комната». Там Барченко с успехом применял свои способности к яснослышанию. Он сам придумал этот термин и называл им тот дар, который помогает человеку общаться с потусторонним миром с помощью и сознания, и сверхсознания, то есть интуиции.

Именно Барченко подтвердил, например, таланты Валентина Смышляева. Он в то время организовал и возглавил театральный отдел в московском отделении Пролеткульта и поставил вместе с Сергеем Эйзенштейном спектакль «Мек-

¹³ Барченко Александр Васильевич (1881–1938) – оккультист, писатель, исследователь телепатии, гипнотизер. Сотрудничал со Спецотделом ГУГБ НКВД. Арестован в мае 1937 г. по обвинению в создании масонской контрреволюционной террористической организации «Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии. Расстрелян.

сиканец» по произведению американского писателя Джека Лондона. Мы с Лизой попали на этот спектакль по приказу Артемьева, до которого дошли какие-то странные слухи о необъяснимом успехе довольно средней постановки. Фактическим режиссером ее был Эйзенштейн, который в программке значился всего лишь как художник-декоратор. Однако мы сразу поняли, что триумф спектакля держится на гипнотических способностях Смышляева. Он внушал зрителям, что перед ними разворачивается гениальное зрелище. Потрясающее самомнение Эйзенштейна тоже работало на успех!

После спектакля мы дождались Смышляева, заговорили с ним. Едва увидев нас, он впал в транс и забормотал что-то о страшном голоде, который вскоре, летом 1921 года, начнется в Поволжье, на Южном Урале, на Украине и во время которого погибнет пять миллионов человек.

Это было страшно, в самом деле страшно даже для меня, мужчины, а Лиза была почти в обмороке.

Мы немедленно сообщили Артемьеву о встрече со Смышляевым. Его проверил Барченко и подтвердил наличие особых способностей. А жизнь подтвердила истинность его пророчества... и этого, и некоторых других.

Смышляев продолжал работать в театре – в Первом МХАТе, потом во втором, – сотрудничал как режиссер с Московской консерваторией, однако оставался нештатным сотрудником Спецотдела. Бокий, пришедший на смену Артемьеву,

и боялся пророчеств Смышляева, и жаждал слышать их снова и снова. Чтобы стимулировать его талант, Бокий приучал его к наркотикам. Это подорвало здоровье режиссера, и он умер в 1936 году.

А мы с Лизой, беспрестанно контролируемые Артемьевым, продолжали поиски спиритуалов и медиумов.

Как-то мы узнали о некоем кружке, который назывался «Общество исследования психизма»¹⁴. Обосновался кружок на Сивцевом Вражке, в квартире некоей дамы «из бывших». Это выражение тогда сделалось очень модным и прижилось надолго! Дама принадлежала к числу тех чудом выживших в революционных бурях старушек, благодаря которым Страстной и Гоголевский бульвары просыпались раньше прочих улиц. Ни свет ни заря на эти бульвары из Московского, Хлебного, Скатертного и других переулков выползали этакие обломки прошлого в мантильках и вуалетках – выгуливать своих очень злобно и очень громко тьявкающих тонконогих собачонок.

Основательница упомянутого общества славилась как провидица. Нет, она не умела предвидеть пертурбации в жизни государств, однако довольно точно предрекала будущее отдельных лиц после того, как подержала в руках какую-то их вещь или просто сжала их пальцы. Тогда она за-

¹⁴ Психизм – чувства, переживания и т. п., присущие определенному лицу. В философии этот термин относится к любому виду оккультных явлений: способностям к гипнозу, прорицанию, ясновидению и т. д.

крывала глаза, как бы впадая в транс, и медленно пророчествовала, причем почти так же туманно и поэтично, как Нострадамус, о котором мне рассказывал еще Николай Александрович Трапезников. Ее адепты внимали с благоговением и потом старательно искали сходство пророчеств с реальностью. И снисходительно прощали «пифию с Сивцева Вражка», если ничего не находили.

– Она великолепно умеет пускать пыль в глаза, – сказала Лиза смеясь, когда старушка предсказала ей затянувшееся девичество и только после пятидесяти лет брак с богатым и важным генералом. – Ей очень хочется верить!

– Хочется? – помнится, буркнул тогда я довольно угрюмо. – Напрасно!

К этому времени Лиза уже была замужем за мной; богатым и важным я никогда не был и стать не смог бы, а генералов в России и днем с огнем ни тогда, ни теперь не сыскать¹⁵. Кроме того, я отчетливо помнил сон, приснившийся мне еще давно, когда Трапезников на даче в Сокольниках окуривал нас дымом от сожженных лавровых листьев, чтобы пробудить способности к предвидению. И предсказание самого Николая Александровича я прекрасно помнил – сделанное им в 1915 году на Арбате: о том, что я буду убит людьми в черном, не дожив до сорока. А если верить мое-

¹⁵ Генеральские звания в советской России были упразднены сразу после Октябрьской революции и введены вновь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 г. по предложению К.Е. Ворошилова.

му сну, вместе со мной будет убита Лиза. Так что старушенция-пророчица нагло врала!

Точно таким же шарлатаном оказался еще один предсказатель – на сей раз не чьего-то счастливого будущего, а конца света, найденный Павлом Мецем где-то на Кузнецком Мосту. Предсказатель сообщал, что видит высунувшуюся из облаков руку со стиснутым кулаком, которым рука сначала всем грозит, а потом разворачивает пергамент с надписью: «Россию скоро ждет небывалый вселенский мор!»

Артемьев сообщил об этом Павел. Однако Лиза, присутствовавшая при этом, язвительно заявила, что совершенно такой же случай приключился лет пятьсот назад с Джироламо Савонаролой¹⁶, о чем и написано в книгах о нем. Правда, Савонарола уверял, что небывалый вселенский мор ждет не Россию, а Италию.

Артемьев заявил, что этот обман подразумевает немалую образованность, и захотел познакомиться с обманщиком поближе. «Савонарола» оказался бывшим профессором-биологом Шварцем, который в свое время ставил опыты по передаче мыслей на расстоянии. Он истосковался по работе и охотно согласился сотрудничать со Спецотделом, заодно назвав своих лучших учеников, некоторых из которых Артемьеву тоже удалось привлечь к работе...

Мы с Лизой никак не могли понять, почему Артемьев,

¹⁶ Джироламо Савонарола (1452–1498) – итальянский монах и реформатор, поборник установления во Флоренции республики.

который в 1918 году хладнокровно руководил операцией по уничтожению самых сильных оккультистов России, теперь с бору по сосенке собирает в Спецотдел их жалкие подобию. Неужели раскаялся в том, что сделал? Мы не верили в его способность к раскаянию! Однако вскоре я понял, какие стремления вели его. Артемьев хотел создать свой отряд оккультистов, которые были бы заведомо слабее его, способности которых он мог бы полностью контролировать: стимулировать или ослаблять, в зависимости от того, что считал нужнее. Эти люди должны были подчиняться только ему. Артемьев завоевывал их преданность тем, что грудью заслонял от репрессий и подкармливал усиленными пайками. В большинстве своем сотрудники Спецотдела по качеству способностей и в подметки не годились тем, кто обагрил своей кровью исчерченный «латинскими квадратами» пол чердака одного из домов в Сокольниках. Однако кое-какими талантами они все же владели, и все эти их таланты Артемьев сумел подчинить себе, а значит, и новой власти, которой он служил.

Я начал читать его бумаги, переданные мне Марианной, недоумеваю и не доверяя его неожиданной откровенности. Похоже, Артемьев сам был настолько изумлен случившимся, что писал о себе в третьем лице, как бы пытаюсь взглянуть на то, что произошло в Сарове, со стороны, или вообще отстраняясь от того, что совершил. Однако подлинное значение его рассказа стало мне понятно позднее, когда я сам

побывал в Сарове в 1927 году. Именно поэтому я эти заметки и сохранил.

Горький, 1941 год

В один из теплых августовских дней Ольга Зимина, по мужу Васильева, стояла на углу Советской площади, напротив кремлевской стены, держала на руках четырехлетнюю дочь и смотрела на вереницу автомобилей, поднимавшихся по Зеленскому съезду и сворачивающих на Университетскую улицу, по которой можно было проехать на Сенную площадь, а оттуда – на Казанское шоссе. Этой дорогой автомобили добирались и до самой Казани, и до Куйбышева¹⁷, и до Уфы, и дальше, на Южный Урал, – да куда угодно, только бы подальше от Москвы, подальше от войны! Слова «эвакуация» и «эвакуированные» уже вошли в обиход...

В машинах сидели люди с испуганными, усталыми лицами. Кузова были загромождены запыленными пожитками. Однако немало проходило и легковых автомобилей, из которых выглядывали мужчины весьма важного вида – как говорится, ответственные товарищи.

«Странно, – подумала Ольга, – почему среди эвакуированных так много мужчин? Да еще призывного возраста! Им бы родину защищать...»

А не придется ли и ей с Женей из Горького уезжать? Некоторые знакомые уже подались в Сибирь, к родне, но у Ольги нигде никакой родни нет, ехать ей некуда.

¹⁷ В описываемое время так называлась Самара.

До чего же тревожно на сердце! Всё как-то пусто и безутешно...

Говорят, иностранные посольства уже перебрались в Куйбышев; туда же якобы собиралось эвакуироваться правительство. Слухи в народе передавались самые страшные, причем многие исходили из вражеского лагеря, из тех листовок, которые разбрасывали с фашистских самолетов. Но листовкам верили. А чему еще оставалось верить? Сводки Информбюро были до того скупы и неопределенны, словно их составители нарочно пытались не рассказать об истинном положении на фронте, а скрыть его, причем как можно тщательней.

– Живем совершенно впотьмах! – ворчали люди. – Боятся нас напугать сводками Информбюро, что ли? Так ведь лучше знать правду! Неужели все и в самом деле так плохо, как рассказывают немцы в своих листовках?

А уж сколько говорили о том, что происходит в самом Горьком! Сначала сюда переправили из Москвы отряд метростроевцев. Потом милиционеры очистили от жильцов почти все дома на набережной имени Жданова – красивейшей улице города с роскошными домами, как оставшимися с былых времен, так и построенными в том классическом и монументальном стиле, который называли «сталинским ампиром». Закрылась гостиница «Центральная», все вокруг огородили, а под Откосом начали копать тоннель. Для чего? Секретом это оставалось недолго, и скоро даже малые дети

в Горьком знали, что здесь строится бункер для Сталина – объект № 1.

С одной стороны, то, что в Горьком разместится вождь, обнадеживало: значит, город ни за что не сдадут. С другой стороны, это ужасало: значит, сдадут Москву?!

По слухам – опять же! – столицу бомбили каждую ночь. Горький пока не трогали, но чуть ли не с самого начала войны над ним мелькали фашистские самолеты, иногда пролетая так низко, что можно было рассмотреть лица пилотов, которые с каким-то совершенно невоенным, туристическим, исследовательским интересом рассматривали кремль.

Это наводило ужас! Но еще страшней Ольге было вспоминать, как на мостике, над вокзальной платформой, стояли, перевесившись вниз, женщины с детьми, провожавшие на фронт мужей, и не плакали, а выли от горя и отчаяния...

Василий, прощаясь, уже с вещмешком, похудевший и в какой-то нелепой и отчаянно не идущей ему военной одежде, умолял Ольгу не приезжать на вокзал – пожалеть и себя, и его. Она пообещала. Но все равно приехала, хотя к его вагону не подошла: стояла на том мостике над железнодорожными путями и плакала так, как не плакала никогда в жизни. Вернулась без единой силушки от этих слез и успокоилась только тогда, когда взяла на руки Женю.

Вот и сейчас – защемило сердце от воспоминаний, и Ольга крепче прижала девочку к себе. Та положила голову ей на плечо, теплое дыхание коснулось Ольгиной шеи – и стало

полегче.

Женей звали ее и Васильева приемную дочь. Как-то так вышло, что у Ольги не было на этом свете ничего собственного: жила в чужом доме, замуж вышла за вдовца, а ребенка нашла на Сретенском бульваре в Москве. Женя была тогда еще совсем крошечная, дней десяти от роду, однако Ольга твердо знала, что нет в ее жизни более важной цели, чем заботиться об этой девочке. Иногда Ольге казалось, что это было ей кем-то приказано... ей виделись какие-то убитые мужчина и женщина... потом эта женщина с родинкой в уголке рта – точно такой же, какая была у Женьки! – не раз являлась Ольге в снах и видениях, подсказывая, что делать в самые трудные минуты. Шло время, события той летней ночи 1937 года вовсе затуманились, но самозабвенная любовь к найденной девочке оставалась главным в жизни.

Сколько Ольга перенесла ради нее! Бежала из Москвы в Горький, скиталась бездомной, потом нашла приют в тайном борделе Фаины Ивановны Чилиевой, а чтобы их с Женечкой не вышвырнули на улицу, отдалась племяннику хозяйки, Анатолию Андреевну... На что она только не была готова ради этого ребенка! Однако Андреевн возненавидел Женю – и выкрал ее у Ольги, а затем тайно подкинул в дом своих дальних родственников Васильевых, у которых незадолго до этого умерла новорожденная дочь. Но Ольга каким-то чудом все же нашла этот дом! Явилась к Васильевым, и те взяли ее нянькой к Жене, потому что милая Ася, Анастасия

Степановна Васильева, совершенно не умела управляться с детьми.

Всё вроде бы чудесно устроилось, да вот только Андреянов не оставлял Ольгу в покое и грозил рассказать Васильевым, что она была проституткой. Конечно, в таком случае Ася и Вася (так Ольга про себя называла своих милых, удивительно интеллигентных и чистых душой хозяев) ее и близко к Жене не подпустили бы! И тогда, действуя словно бы по чьей-то неведомой подсказке, Ольга написала донос на Андреянова, который служил начальником крупной снабженческой организации и не раз похвалялся своими удачными махинациями. Его арестовали; Ольга вздохнула спокойно, но ненадолго! Андреянов на допросе оговорил Васильева, и тогда забрали и его.

Ася тяжело заболела с горя, и Ольга, с Женей на руках, пошла, по совету добрых людей, просить милости у всесильного Юлия Моисеевича Кагановича, первого секретаря обкома. Тот с первого взгляда был очарован крохотной Женей, пожалел ее. И произошло чудо: Василия Васильевича из тюрьмы выпустили! Вот только сердце бедной Аси, которое надорвалось от горя, радости уже не выдержало...

Через год после ее похорон Василий Васильевич женился на Ольге, и они удочерили Женю. Теперь Ольга наконец могла назвать официально своей дочерью эту девочку, которая и так была для нее центром Вселенной! Женя обожала и ее, и Василия Васильевича, но вот что странно – ни разу не

назвала их мамой и папой, а звала Лялей и Васем. В Лялю она перекрестила Ольгу, а имя «Вася», видимо, казалось ей недостаточно мужественным, так что теперь приемный отец звался лаконично и весомо: Вась. Каким образом постигла Женя, что эти люди – не ее родители, неведомо, однако она вообще была девочка непростая, порою даже странная. Как вспомнишь...

Загадочно, впрочем! Стоит Ольге попытаться вспомнить о Жениных странностях, как на ум приходят только какие-то затуманенные, бессвязные обрывки. Зато как ясно вспоминается их с Василием и Женей прошлогодняя поездка по Волге от Горького до Астрахани на огромном пароходе, и шлюзы, и предрассветная тишь, и шелковая волна огромной реки, и солнечные блики на воде... Как хорошо они жили, как счастливо! Но вот – война! Муж пишет из армии: «Ты знаешь, что я раньше боялся заколоть курицу и даже жалел ее. А теперь немца как увижу убитого – радуюсь, и сам с удовольствием стреляю в фашистов. Вот как меняет жизнь человека! Кончится война, если останусь жив, приеду домой, и все это будет казаться дурным сном...»

Кончится война! Да когда же она кончится?! Пока что наша армия только отступает.

...Женя, доселе смирно сидевшая на Ольгиных руках и даже, кажется, придремнувшая, вдруг встрепенулась и так резко дернулась вперед, что Ольга чуть ее не уронила.

– Что ты, тише, свалишься! – испуганно воскликнула Оль-

га, однако девочка замерла, неотрывно глядя на «эмку»¹⁸, которая в эту самую минуту вдруг зачихала, задымила мотором – и остановилась прямо напротив них.

Шофер выскочил, открыл капот, из которого повалил пар, суетливо всплеснул руками, сунулся в багажник, выхватил брезентовое ведро, завопил:

– Люди добрые! Где тут воды можно набрать?

– Вон там колонка, – махнула рукой Ольга. – За углом, метров сто.

– Метров сто?! – взвизгнул полный мужчина, сидевший на переднем сиденье. – Да мы загоримся!

И он с проворством, совершенно неожиданным для его корпуленции, буквально вывалился из машины.

С заднего сиденья из обеих дверей выскочили еще двое мужчин, правда, довольно худощавых, и стремительно отбежали подальше. Однако там остался еще кто-то сидеть.

Мужчины, оказавшись на приличном расстоянии, вдруг спохватились, обернулись, и толстяк крикнул:

– Тамара Константиновна! Что же вы сидите?! Выходите скорей, а то машина взорвется!

Из машины никто не показывался. Может быть, этой жен-

¹⁸ «Эмка» – народное название советского автомобиля М1, производившегося на Горьковском автозаводе с 1936 по 1943 г. М1 расшифровывалось как «Молотовский-первый»: в честь председателя Совнаркома В. М. Молотова, имя которого в то время носил завод. Марка «М» присутствовала в обозначениях практически всех легковых автомобилей Горьковского завода до конца 50-х – начала 60-х гг., когда Молотов был смещен с должности.

щине плохо стало?!

Женя резко обернулась и взглянула Ольге прямо в глаза.

Та растерянно моргнула, потом поставила девочку на тротуар и строго сказала:

– Стой здесь, слышишь? Ни с места!

Женя кивнула.

Ольга подскочила к машине и заглянула в салон.

На заднем сиденье она увидела молодую женщину с ребенком на руках. Мальчик лет четырех мирно спал, положив темно-русую голову ей на плечо.

– Что же вы сидите?! – крикнула Ольга испуганно, однако осеклась, когда женщина приложила палец к губам и извиняюще улыбнулась:

– Тише, пожалуйста. Сын только что уснул. Прямо вот пять минуточек назад. Он за дорогу измучился весь, пусть отдохнет.

– Там в моторе что-то дымится, – нервно прошептала Ольга. – Надо вылезать, а то мало ли... Сделаем так: я его возьму осторожнонько, а потом вы выберетесь. Хорошо?

Женщина взглянула на нее черными испуганными глазами:

– Ну давайте попробуем.

Ольга просунулась в автомобиль и потянула к себе ребенка. Он спал крепко, приоткрыв розовый ротик, чуть хмурясь во сне, и, похоже, просыпаться пока не собирался.

Ольга вытащила его, положила тяжелую со сна голову себе

на плечо. Сердце ее радостно встрепенулось от этой сонной тяжести. Было в ребенке что-то до такой степени родное... Невольно слезы навернулись на глаза. Даже запах его казался родным! Ольга не удержалась и осторожно коснулась губами теплого виска с вспотевшими волосиками.

Из расстегнутого ворота рубашки мальчика выскользнул медный крестик и повис, качаясь на черном шелковом шнурке...

Ольга попятилась, чтобы мать ребенка могла, наконец, выбраться из машины, внезапно наткнулась на что-то, чуть не упала, обернулась – и вскрикнула испуганным шепотом:

– Женька! Ты что? Ты почему? Я тебе где велела стоять?!

– Там, – небрежно махнула рукой Женя, закинув голову и зачарованно глядя на спящего мальчика.

– Почему ты не слушаешься? – сердито шипела Ольга.

– Потому что Саша, – сказала Женя с таким выражением, как будто это все объясняло.

– Какая умная девочка, – послышался рядом голос, и Ольга, покосившись, увидела мать мальчика, которая уже выбралась из машины, однако еще придерживалась за дверцу, нетвердо стоя на затекших ногах. – Откуда ты знаешь, как зовут моего сына?

– Кого? – изумленно спросила Женя, смешно поднимая бровки.

– Ну, этого мальчика, – улыбнулась женщина. – Откуда ты знаешь, что его Саша зовут?

– Знаю, – серьезно ответила Женя.

– Может быть, ты даже знаешь, как меня зовут? – усмехнулась женщина.

– Нет, – покачала головой Женя. – Зато я знаю, что ты очень красивая!

И она восхищенно улыбнулась.

Черноволосая и черноглазая, с длинными ресницами и точеными чертами, смуглая, эта молодая женщина казалась сказочной царевной. Вдобавок одета она была так, что любое творение лучших горьковских закройщиков (а с их работой Ольга в былые времена неплохо познакомилась, так уж сложилась судьба!) казалось скучным и бесцветным. А туфли-то, матушка родная! Шелковые накладные банты, высоченные тоненькие каблукы...

Артистка, что ли, которую увезли в эвакуацию прямо с концерта?

Ольга мигом почувствовала себя бесцветной замарашкой, однако завидовать этой сияющей красоте было невозможно: она не ослепляла своим блеском, а согревала.

– Меня зовут Тамара, – сказала красавица. – Тамара Морозова. А вас как зовут? – Она переводила взгляд с Ольги на девочку.

– Это Ляля, – показала пальчиком та. – А я – Женя!

Она выкрикнула свое имя во весь голос, и мальчик на руках Ольги вполношенно вскинулся, открыл глаза.

– Ах, проснулся! – всплеснула руками Тамара. – Сашень-

ка, не бойся, я здесь.

Однако он вовсе не казался испуганным. Огляделся затуманенными со сна глазами, мельком улыбнулся Тамаре, с интересом посмотрел на Ольгу – и тут увидел Женю, которая стояла, закинув голову, и неотрывно таращилась на него.

Несказанное удивление промелькнуло на лице мальчика, потом он завозился на Ольгиных руках и проворно соскользнул вниз. Одернул задравшуюся курточку и встал против Жени, глядя на нее с таким же улыбочивым вниманием, с каким она смотрела на него.

– Как быстро они подружились, да? – восхищенно сказала Тамара. – Вообще такое впечатление, будто всю жизнь знакомы. Даже жалко будет их разлучать, когда снова поедем.

Наконец-то вернулся шофер с ведром воды, начал возиться с машиной. Попутчики Тамары ворчали, торопили его; усталый водитель лениво огрызался.

– Вы далеко направляетесь? – спросила Ольга.

– Даже не знаю, – вздохнула Тамара. – По просьбе моего бывшего мужа меня взялись довести до Куйбышева, но я не выдержу, честное слово. Тесно очень, к тому же это не мужики, а бабы болтливые. Без конца языками молотят, уснуть не дают ни мне, ни ребенку, а когда сами засыпают, храпят так, что нам спать вообще невозможно. Беда просто. А дорога загроможденная, час едем, два стоим. Измучилась я за эти двое суток – слов нет!

– До Куйбышева еще ехать и ехать, – посочувствовала

Ольга. – У вас там родственники?

– У мужа моего бывшего там тетка... я ее в глаза ни разу не видела, – дрожащим голосом пожаловалась Тамара. – Представляю, как она нас встретит! Надо будет искать работу, а где я ее найду? И профессии у меня никакой нет. Я была просто мужняя жена, капитанша, знаете? – Она слабо усмехнулась. – Потом ребенок родился... Так и не поступила работать, числилась иждивенкой. Теперь думаю, зачем из Москвы уехала? Но там такая была паника, бомбежки эти... Горький уже бомбят?

– Пока нет, а что дальше будет – неведомо.

– Глядишь, и обойдется, – горячо сказала Тамара. – А то ужас, просто ужас! Москву бомбили почти каждую ночь, иногда и днем. Радиоприемники все мы сдали в первые дни войны. Приказ такой был. Все новости из уличных репродукторов. И вот, знаете, как завоет сирена, а потом из этих рупоров оглушительно: «Граждане, воздушная тревога!» – трижды. Как раздастся этот голос, так сердце просто останавливается. Зато потом так отраднo на душе, когда, после бомбежки, слышишь: «Граждане, угроза воздушного нападения миновала, отбой!» Тоже три раза объявляли.

Тамара прерывисто вздохнула и торопливо продолжала:

– У нас в доме, да вообще везде, были ночные дежурства распределены: по два часа, с полуночи до шести. Мне, правда, везло: в мои дежурства тревога только раз была.

Она хохотнула с истерической ноткой в голосе и сильно

потерла тонкие длинные пальцы, которые заметно дрожали.

Ольга слушала молча, сочувственно, понимая, что ее новая знакомая настрадалась, измучилась донельзя и ей просто необходимо выговориться, оттого она и откровенничает так безудержно с совершенно незнакомым человеком:

– Я по ночам сяду, бывало, на ступеньку крыльца и слушаю. В темной ночи звуки далеко-далеко разносятся! Машинам и людям нельзя было передвигаться после наступления комендантского часа, поэтому тишина стояла, только шаги патруля доносились да гудки паровозов с Курского или Казанского вокзалов. Тихо, спокойно. Кругом затемнение, огни не мешают на звезды смотреть. Красота неопишуемая! Любоваться бы в свое удовольствие, но мысли всякие страшные в голову лезли. В газетах пишут об ужасах в Бресте, Минске, везде, где побывали фашисты... Вот изверги! Это не люди, но это и не звери, ведь это разумные существа, потерявшие всякие человеческие чувства! Как представишь, что они дойдут до нас!.. – Тамара передернулась. – Кроме того, в ясные ночи особенно тревожно было: фашисты налететь могли. И вот знаете, один раз началась бомбежка. Как сейчас помню – это было 11 августа. Началась без пяти одиннадцать ночи и длилась до четверти четвертого утра. Зенитки стреляли без передышки: бомбили Пресню и Фили, на Арбате тоже... А я стою с такими длинными щипцами, чтобы зажигательные бомбы хватать и в бочки с водой бросать, пока не разгорелись, и колочусь вся от страха, от какого-то живот-

ного страха! Думаю, а вдруг не зажигалка, а фугаска упадет прямо на меня? С кем тогда Сашенька останется? Виктора, это мой второй муж, мы просто не успели расписаться, я совсем недавно получила развод, призвали в первые же дни, потому что он врач. Морозову, бывшему мужу, Сашка совсем не нужен, да он и сам на фронте тоже. Куда же моего сына, думаю, денут, неужто в детдом?! На самом деле я не столько из-за бомбежек из Москвы уехала, даже не столько из-за общей паники, которая там царила, сколько из-за этих мыслей неотвязных... от ужаса, что Саша останется один. Понимаете?!

Ольга кивнула.

Тамара всхлипнула, провела по глазам ладонью, огляделась – да так и ахнула:

– Боже мой? А где же дети?!

Ольга схватилась за сердце: и в самом деле, рядом никого.

– Вон они! – вскрикнула Тамара. – Бегут куда-то! Сашенька, стой!

Тут и Ольга увидела поодаль Женю и Сашу, которые, схватившись за руки, уже свернули с площади на улицу Фигнер и пробежали полквартала, оказавшись почти возле Областной библиотеки, размещавшейся в прекрасном классическом строгом здании бывшего Александровского дворянского института.

Услышав голоса, зовущие их, дети разом обернулись, не разнимая рук, и Женя звонко крикнула:

– Ляля, пошли домой, мы кушать хотим!

– Тамама! – кричал и Саша. – Пошли домой! Только книжку мою не забудь!

– Куда они, куда?! – истерически вскрикнула Тамара.

– Не волнуйтесь, не волнуйтесь! – горячо ответила Ольга. – Кажется, ваш сын так понравился моей Женьке, что она решила пригласить его в гости. Вы не тревожьтесь: это почти рядом, мы на Мистровской живем, а Женя отлично знает дорогу, они не заблудятся. Она очень самостоятельная, такая лягушка-путешественница... А про какую книжку Саша говорит?

– Да мы нашли в Сокольниках одну тетрадку, – рассеянно начала было Тамара и вдруг спохватилась, взвизгнула: – Саша убежал! А ведь нам надо ехать дальше!

– А зачем? – вкрадчиво спросила Ольга.

– Как это? – Тамара замерла, уставилась своими огромными, черными, перепуганными глазищами. – Ну... в Куйбышев же...

– Сдался вам этот Куйбышев, – отмахнулась Ольга. – Сами говорите, что вас там никто не ждет. Тетка эта двоюродная вообще не знает, что вы ей на голову свалитесь. А вдруг не примет вас?

– Вы это к чему? – растерянно шепнула Тамара.

– А к тому, что у меня полдома пустует, – решительно сказала Ольга. – Говорят, эвакуированных всяко будут на свободную жилплощадь подселять, ну так вот я вас и подселю.

Дети подружились, как... ну я просто не знаю! Прямо как брат с сестрой! Изумительное что-то! Вы, вижу, человек хороший, я тоже не скандальная. Наверное, уживемся. Вдвоем даже легче с детьми будет управляться. А Тамама – это вас так сын называет, да?

– Ага, – засмеялась Тамара, успокаиваясь на глазах. – Знаете, с первого мгновения ни разу просто мамой не назвал. Тамама – и все! Даже странно.

– Ну вот и моя дочка меня только Лялей зовет. А на самом деле я – Ольга, Ольга Васильева. Забирайте свой чемодан, Тамама, в смысле, Тамара, и пошли домой, в самом-то деле!

Тамара еще мгновение тарасилась на нее, задумчиво моргая, потом вдруг резко провела по лицу ладонью, словно смахивая испуг и нерешительность, и кивнула:

– Хорошо.

Попутчики Тамары так откровенно обрадовались ее решению их покинуть, что даже не спросили, куда она уходит, зато очень споро, в шесть рук, выволокли ее чемодан и битком набитый саквояж из багажника.

Ольга и Тамара взяли вещи и поспешили вперед, безуспешно пытаясь нагнать детей, как вдруг послышалось негромкое:

– Ольга...

Она обернулась и увидела невдалеке женщину с темно-русыми волосами. Ольга не могла разглядеть, во что она одета, – видела только ее лицо, зеленые глаза и родинку в уголке

рта. Точно такую, как у Женьки! Глаза этой женщины были полны слез, но при этом она улыбалась дрожащими губами и шептала:

– Спасибо тебе! Береги моих детей!

– Что, Ольга? – раздался обеспокоенный голос Тамары. –

Что случилось?

Ольга растерянно моргнула. Сзади никого не было.

Она попыталась вспомнить, что сказала женщина, – но не смогла. Да и самое видение стремительно исчезало из памяти...

– Ничего, – пробормотала Ольга растерянно. – Почудилось. Почудилось... Пойдемте, Тамара, здесь недалеко.

Москва, осень 1941 года

Ромашов стоял за кустами и смотрел на этот желтый трехэтажный облупленный дом. Казалось, только вчера, а не четыре года назад, таился он за этими же самыми кустами и разглядывал этот же самый дом на Спартаковской. Ромашов помнил даже, как поскрипывали под ветром старые качели! Хотя кое-что все-таки изменилось: тогда было самое начало лета, а сейчас немыслимо, буйно, ошалело цвели кругом золотые шары – качали головками, стучались в окна, словно просились внутрь.

И тогда не было войны...

Ромашов не сомневался, что Панкратова нет в Москве:

наверняка мобилизован, хотя, с другой стороны, думал он с бессильным ехидством, кому нужны на фронте врачи-акушеры? В любом случае можно не опасаться, что Панкратов узнает его при встрече: да разве мыслимо признать в этом уродливом, бритоголовом, заросшем щетиной заморыше того пусть худощавого и лысеющего, однако довольно крепкого мужчину, каким Ромашов был некогда?! Глаза, конечно, могут его выдать, эти его глаза-предатели... Но вряд ли Панкратов запомнил глаза какого-то энкавэдэшника, из которого он едва не вышиб дух. Что, Ромашов девица-красавица, что ли, чтобы обращать внимание на его глаза?

И все же встречи с Панкратовым хотелось бы пока избежать. Лучше сначала выяснить, дома ли Тамара и где находится сын Грозы. Если он сейчас в детском саду или у няньки, это просто великолепно. Оттуда его легче удастся выкрасть.

Хотя если Тамара дома одна с ребенком, то и с ней хлопот не будет. Она Ромашова не видела – значит, нет никакого риска быть узнанным. А кстати, на каком этаже, в какой квартире она живет?

Неизвестно... Все окна одинаково перечеркнуты белыми бумажными косыми крестами.

Что же, стучать во все двери наугад?!

– Они во втором этаже жили, но сейчас Виктор ушел в армию, а Тамара с сыном эвакуировались, – внезапно раздался за спиной женский голос, и Ромашов чуть не подпрыгнул от

неожиданности.

Обернулся – и увидел маленькую, даже ниже его, и так не слишком высокого, женщину с невзрачным, блеклым личиком. Ее нос картошкой был для такого маленького лица слишком большим, а потому прежде всего бросался в глаза и портил все впечатление от и без того невыразительных черт. Пегие волосы коротко пострижены и забраны гребенкой, открывая лоб, покрытый россыпью прыщиков. Губы слишком тонкие, да еще и поджаты, как бывает у завистливых или обиженных судьбой женщин.

Впрочем, тот, кто судьбой не обижен, завистливым не бывает...

Ромашова настолько ошарашила догадливость этой дурнушки, что в первое мгновение он подумал: она из *своих*, в смысле, бывших *своих* – то есть она обладает такими *способностями*, какие прежде были у самого Ромашова, некоторых его коллег по Спецотделу и какими блистали Гроза и Лиза!

– Вы... вы... – пробормотал он ошеломленно, пытаясь как-то защититься от незнакомки, если она обладает даром проникновения в чужое сознание, свои опасные намерения насчет Тамары Морозовой, Виктора Панкратова и, главное, сына Грозы. Это была его тайна, это была козырная карта, с которой он намеревался пойти... если, конечно, удастся эту карту вытянуть! – Как вы...

– Я вас хорошо помню, – сказала женщина, разглядывая его. – Вы сюда один раз приходили, стояли на этом самом

месте и смотрели на Тамару Морозову и ее бывшего мужа. Я на вас тоже потихоньку смотрела, а потом мне надо было идти в ночную смену, ну, я и пошла. А вы остались. Вы меня, конечно, не заметили...

Она легонько вздохнула, и этот привычный вздох, и это слово – «конечно», и ее обезоруживающая откровенность многое, очень много внезапно открыли Ромашову. И все же он спросил:

– Вы меня запомнили? Почему? Столько лет прошло...

– А по глазам, – пролепетала женщина, уставившись на него. – По глазам запомнила. У вас глаза необыкновенные. Я таких никогда не видела... таких красивых глаз...

Ромашов даже покачнулся. Эти глаза – слишком яркие, словно бы даже неживые в своей эмалевой синеве! – были его проклятием, были ему ненавистны: может быть, потому, что Лиза смотрела в них не иначе как с ненавистью. Для Лизы он был омерзительным уродом, но для этой... для этой незнакомки, которая стояла вся красная, буквально обжигая его взглядом своих только что тусклых и невыразительных желтоватых гляделок, теперь повлажневших и засиявших, будто... будто топазы, честное слово! – для нее Ромашов отнюдь не был уродом!

Даже с кривым носом и некрасивыми пломбами на сломанных Панкратовым зубах...

Конечно, он не обладал ни одной из своих прежних *способностей*, однако оставался мужчиной – причем мужчиной,

который черт знает как давно не был с женщиной, мужчиной, которого мучили по ночам чудовищные по своей развратности сны: в них он любодействовал с кем можно и нельзя, и с женщинами, и с мужчинами, и даже с капризной больничной козой Райкой... Жуть, конечно, однако она иногда и наяву бывала предметом вожделения многих обитателей бывшей Канатчиковой дачи, чья болезнь усугублялась еще и вынужденным воздержанием! Итак, Ромашов оставался мужчиной, который, словно кобель по запаху течную суку, узнал в незнакомке женщину, истомившуюся по мужской ласке, может быть, никогда ее не знавшую... женщину, которой он был нужен – и которая могла ему помочь.

Вихрь налетевшего желания был так силен, что Ромашов даже не отфиксировал сознанием слова о Панкратове, Тамаре и ее сыне, который на самом деле был сыном Грозы. Сейчас и чувство долга, и даже – даже! – жажда мести отступили. Нет, их словно бы смело этим вихрем!

Ромашов вцепился в руку незнакомой женщины, потянул ее к себе, прижал, совершенно точно зная, словно стал лучшим в мире предсказателем будущего, что она его не оттолкнет.

И она в самом деле не оттолкнула, а увела его к себе в крохотную квартирку (комнатка и кухонька, почему-то совмещенная с клозетом, зато отдельное жильё!) на первом этаже, и там они с Ромашовым рухнули в постель с такой жадой взаимного обладания, что он потом слабо удивлялся, как

это они не убили друг друга или как она вообще не сожрала его в своей ненасытности, подобно самке богомола, которая пожирает своего самца, оставляя напоследок орган, который доставляет ей наслаждение.

...Ее звали Людмилой Абрамец – Люсей, как она представилась, когда они, наконец, оторвались друг от друга и пошли поесть – не одеваясь, только завернувшись в пропотевшие простыни. Ее холодный капустный суп с капелькой картошки и, само собой, без мяса, они ели с хлебом, который остался у Ромашова, и ему казалось, что никогда, никогда – даже когда он столовался у своего учителя Трапезникова, которому готовила непревзойденная повариха, Лизина няня Нюша, – он не ел ничего вкуснее.

Впрочем, Нюша его терпеть не могла, презрительно называла лопарем¹⁹ (странно: он ведь и был по национальности лопарь, однако, произнесенное Нюшей, это слово звучало как ужасное оскорбление... отчасти потому он ее и убил без всякой жалости). Да, Нюша его презирала, а Люся – любила. И она сказала Ромашову об этом много, много раз, и он не уставал слушать это слово, которое никто и никогда – никто и никогда! – не обращал к нему.

Потом они снова вернулись в постель, но уже не только рвали друг друга на части в застарелой плотской алчности, но и разговаривали.

¹⁹ Лопари, или лапландцы, теперь называются суоми.

Ромашов очень осторожно объяснил, почему разыскивает Панкратова. У них, дескать, старые счета... Панкратов некогда избил его до полусмерти, после чего он попал в психушку с потерей памяти, потом выздоровел, бежал, вот только документов у него нет, и как быть дальше, не знает.

– Документы? – задумчиво повторила Люся. – Документы раздобыть можно.

– Как ты их раздобудешь? – недоверчиво спросил Ромашов.

Люся медленно заговорила:

– Ко мне еще летом троюродный брат приезжал из деревни. Мать давно уехала и меня увезла, еще когда голодовали в тридцать третьем. Теперь-то там сытно живут! Такая этот братец сволочь, ты бы только знал... продуктов у него – полный мешок, но он мне ничего не дал, ни кусочка мяса. Все повез какой-то знакомой своей. Здесь пожрал моего, а свой мешок так и не распочал! Продукты увез, а паспорт свой забыл. Я так разозлилась – думаю, а хрен отдам тебе паспорт! Подергаешься... по законам военного времени и к стенке могут, да?

Ромашов кивнул, подумав, впрочем, что обида Люси на троюродного брата зиждется, пожалуй, не только на его жадности. В ее голосе звучали нотки люто оскорбленной женщины, которой пренебрегли ради женщины другой.

Ромашову сделалось вдруг остро жаль Люсю. Он погладил ее по руке и ласково спросил:

– Что же потом с этими документами стало? Вернула ты их?

– А некому возвращать оказалось, – ухмыльнулась Люся. – Эта его знакомая домработницей служила... Может, помнишь, на углу улицы Калинина, как раз возле кино «Художественный», такой высокий дом стоял?

– Стоял? – удивился Ромашов, отлично помнивший это красивое здание, находившееся недалеко от роддома имени Грауэрмана, где он некогда пытался искать детей Грозы.

– В те дни как раз бомбить Москву начали, – продолжала Люся. – Ну и разбомбили театр Вахтангова и тот дом. Я потом туда ходила... Страшно было смотреть: стоят две стены с разноцветными обоями, а промеж них груда развалин. Ножки стола из нее торчат, кусок двери, умывальник... Жуть! Жильцы, которые в убежище отсиделись и спаслись, бродят вокруг, а у них ничего не осталось. Дед один вытащил из-под обломков фикус сломанный, какая-то женщина – стул. А больше ничего. Несколько человек в убежище не пошли, ну и их поубивало, конечно. И ты знаешь... – Она взглянула на Ромашова торжествующими, искрящимися глазами: – Тройродный-то мой братец тоже там погиб. Видимо, и знакомая его тоже. Кого из-под развалин вытащили, тех на панели положили. Видела его – без головы лежал, по пинжаку, – Люся так и сказала: «пинжаку», – да по сапогам признала. Вот как вышло... Не ушел – жил бы. Но помер. А документы у меня остались, понимаешь?

Люся пристально посмотрела в глаза Ромашову, и у него дрогнуло сердце.

– Тебя зовут-то как? – ласково спросила она.

– Павел Ромашов.

Люся так и ахнула, потом вдруг засмеялась, твердя:

– Павел Петрович? Или Петр Павлович?

Ромашов внимательно смотрел на нее, чувствуя, что веселье это – неспроста.

Однажды Николай Александрович Трапезников, любимый учитель, процитировал, уж не вспомнить теперь, по какому поводу, чьи-то слова: «В судьбе нет случайностей».

Ошибались и Николай Александрович, и тот, кому эти слова принадлежат, будь он даже стократно классиком литературным! Ошибались! Ромашов множество раз убеждался в губительной – и в то же время спасительной силе случайностей, которые его преследовали. Особенно в последнее время. Чем, как не случайностью, было упоминание фамилии Ромашова профессором в лечебнице, после чего к Пейвэ Мецу вернулась память? А его случайно удавленное бегство? А встреча с Люсей? И вот теперь...

– Как же звали твоего троюродного брата? – спросил он осторожно.

– Фамилия ему Ромашов была, – все еще смеясь, ответила Люся. – А звали Петром. Паспорт еще тридцать четвертого года выдачи, без фотографии²⁰. У деревенских у многих

²⁰ Указ об обязательном появлении фотографий в паспортах вышел в 1935 г.,

паспорта еще без фотографий...

Ромашов зажмурился.

Петр Ромашов. Петр... Ну что же, имя Пейвэ с таким же успехом может соотноситься с Петром, как и с Павлом. Назвать его Павлом решил Трапезников, ну а Петром истинно назвала судьба!

– А ты мне этот паспорт отдашь? – осторожно спросил Ромашов.

Люся истоиво кивнула:

– Я для тебя все на свете сделаю! – Вдруг застеснялась своего порыва, опустила глаза: – Хочешь снова поесть? У меня картошка есть.

– Вари! – обрадовался Ромашов, который уже успел опять проголодаться. – А я ополоснусь. Вода-то есть?

– Холодная только.

– Ничего!

Он вымыл под краном голову, худо-бедно помылся сам, оделся.

– Ты уже уходишь? – испуганно спросила Люся. – А я думала, заночуешь...

– Заночую, – кивнул он. – Куда я побреду на ночь глядя! Просто неловко в простыне – как дикарь. Лучше оденусь. В случае чего снять недолго, верно?

однако в деревнях это было трудно осуществить, поэтому старые паспорта не меняли до окончания срока их действия, так что в быту мирно уживались две разновидности паспортов: как с фото, так и без.

– Ага, – со счастливой улыбкой кивнула Люся, набросила халатик и даже застегнула пуговики, а потом пошла завешивать окна маскировочными шторами: день-то прошел, пора было затемняться.

Потом сели за стол.

– Так ты говоришь, Панкратова призвали? – осторожно вернулся Ромашов к тому, ради чего, собственно говоря, он сюда и пришел.

– Ну да. Чуть не в первые дни. Помню, уходил, так сто пятьдесят раз Тамаре наказал, чтобы сына берегла как зеницу ока. Чуть не плакал, прощаясь. Я всегда говорила, что с пацаном дело нечисто, что на самом деле Витька хотел капитану Морозову своего пащенка подсунуть.

– А что за ребенок-то вообще, хороший? – как бы от нечего делать спросил Ромашов.

– Да чего в нем хорошего? – возмущенно спросила Люся. – Ему «козу» кажешь, а он скривится весь, отвернется... Юродивый какой-то. Не от мира сего. Хотя ничего не скажешь: если голова болит у кого из соседей или там зуб, то стоит прийти и показать больное место Сашке, он только ладонь приложит или обнимет – и все, человек, считай, здоров. А потом сразу в сон его валит. Поэтому Тамара против была, чтобы его часто просили полечить.

Ромашов уронил картофелину, поднял с пола и, даже не стряхнув мусора, задумчиво откусил. Но не о картофелине и не о мусоре он думал!

Он вспомнил Грозу, который «бросал огонь», а потом валялся в беспмятстве. А его сын...

Выходит, не ошибались Бокий и Николаев-Журид, которые давали ему поручение во что бы то ни стало найти детей Грозы. Они в самом деле его наследники, во всяком случае сын!

Тамаре, значит, не нравились особые способности ребенка... А Панкратов? Что об этом думал Панкратов? Гордился он своим найденышем? Приходило ли ему в голову, что он подкинул в синичье гнездышко истинного орленка?

Но где искать Ромашову этого орленка?!

Надо спросить, но осторожно, чтобы Люся не заподозрила: именно это интересует его больше всего на свете. Нельзя, чтобы она осталась обиженной. Она еще может пригодиться. Да и не хотелось ее обижать.

– А как Тамарка эвакуировалась, это же сущий цирк! – вдруг воскликнула Люся, и Ромашов даже вздрогнул: Люся словно почувствовала, о чем он хочет услышать. – Панкратов ушел, ничего для них сделать не успел, да и кто ж знал, что будет. А потом началось! Сначала всех немцев – ну, русских немцев, – из Москвы повыслали. Старушки тут, немки, неподалеку жили – они вообще понять ничего не могли, куда их и зачем гонят, за бесценнок вещи распродавали, чтобы хоть какие-то деньги выручить... Потом похоронки людям повалили. Немцы листовки начали разбрасывать: дескать, к 15 августа от Москвы камня на камне не останется. Паника

началась... народ как с ума сходил. Тамарка тоже.

– А ты не сходила? – с улыбкой спросил Ромашов.

– А мне что немцы сделают? – пожала плечами Люся. – Уж если я при советских выжила, то и при них выживу. А что в газетах пишут, так наши газеты читать – сам, чай, знаешь. для здоровья сильно вредно! Ну и вот в один из таких сумасшедших дней вдруг приезжает какой-то краснофлотец и говорит, что его послал кавторанг Морозов свою бывшую жену эвакуировать. Тамарка чуть не брякнулась в обморок: этот Морозов за развод смертным боем бился, денежный аттестат свой отозвал от злости на нее, а теперь – здрасте! Благородный, видишь ли! Но она спорить не стала, конечно: быстро какие-то вещички в чемодан да в саквояж покидала, пальтишко напялила, квартиру заперла, окошки завесила, Сашку подхватила – и уехала на машине с какими-то важными шишками. Правда, пути не будет, – хихикнула Люся, – выехали со двора, да Тамарка опрометью вернулась. Чего-то там они забыли, тетрадку какую-то. Нашли они перед войной тетрадку, уж не знаю какую, да крестик. Крестик на Сашку нацепили, а в тетрадке, видать, что-то важное написано, раз ее никак нельзя было забыть. Ну, Тамарка забрала ее, снова все заперла – да и окончательно уехала в Куйбышев.

Ромашов подавился картофелиной.

– Куда? – прохрипел через силу.

– В Куйбышев, – безмятежно повторила Люся. – А чего?

Он только головой мотнул – говорить не мог.

В Куйбышев! Тамара эвакуировалась в город Куйбышев! Да ведь это совсем близко с Горьким, куда повезли пациентов больницы, из которой Ромашов не далее как вчера сбежал! То есть его доставили бы почти к той самой цели, к которой он так стремился, а он... а он...

Да что же это? Как же это?!

Ромашов был так потрясен, что даже не замечал, что подавился – и заходится в судорожном кашле, а Люся истоиво колотит его по спине.

Наконец застрявший в горле кусок выскочил, соображение вернулось, Ромашов несколько справился с собой.

– Ничего, ничего, – пробормотал он. – Чайник поставь.

Ему хотелось, чтобы Люся перестала смотреть на него полуйспуганно-полусочувствующе, словно понимала, насколько потрясло его известие об эвакуации Тамары.

А впрочем, подумал Ромашов, наконец, прокашливаясь и восстанавливая дыхание, чего это он так расклеился? Ну, увезли бы его в Горький вместе с прочими психами, так откуда бы он узнал о том, что Тамара и сын Грозы поблизости, в Куйбышеве? Откуда?! Скорей всего, если бы он сбежал из горьковской психушки, он снова пробирался бы в Москву. Но еще неизвестно, какие там условия содержания больных: может быть, оттуда и сбежать бы не удалось, а уж в Москву пробраться – тем паче. Так что же, не исключено, как всегда, что нет худа без добра?

Вдруг раздался стук в дверь.

У Ромашова дрогнуло сердце. Мало ли кто мог прийти, постучать, однако он почему-то физически ощутил, что его блаженному отдыху в этой нелепой квартирке, ставшей для него истинным житейским убежищем, рядом с этой нелепой, но преданной ему женщиной пришел конец.

Люся оглянулась испуганно:

– Открывать? Или нет?

И тут, словно разрешая их сомнения, из-за двери раздался голос:

– Откройте! Патруль, проверка документов.

Люся оглянулась – глаза огромные! – ринулась к комоду, выхватила из верхнего ящика серую книжицу паспорта, швырнула Ромашову. Он мгновенно сунул паспорт в карман и снова плюхнулся на табурет.

Люся только повернулась – подбежать к двери, – однако та уже распахнулась и, теснясь, вошли трое военных: командир и двое рядовых.

«Так мы что, с незапертой дверью все время были?» – подумал Ромашов с комическим ужасом, хотя комического, конечно, тут было мало...

– Затемнение проверьте! – зло бросил начальник патруля. – Светитесь, как не знаю что! Вот перерезать бы вам провод по закону военного времени!

Люся всплеснула руками и кинулась к окну, бормоча:

– Да как же я... Да что же...

Начальник патруля повернулся к Ромашову:

– Документы, гражданин.

Ромашов приподнялся из-за стола, но солдаты вдруг наставили на него винтовки:

– Сидеть!

– Что такое? – спросил Ромашов, изо всех сил стараясь держать себя в руках. – Я паспорт достать хочу, в кармане он.

Начальник кивнул. Ромашов вынул паспорт, хотел открыть и глянуть на записи хоть один глазом, однако начальник оказался проворней: выхватил, раскрыл, глянул в документ, потом поверх него – на Ромашова:

– Старого образца! Почему без фотографии?

– Да поди найди фотографию в нашей деревне, – пробормотал Ромашов, чувствуя, как у него начинает стучать в висках: наверное, от страха. Он ведь ничего не знает, кроме того, что его теперь зовут Петр Ромашов!

– Назовитесь, – сказал начальник патруля, а солдаты снова навели на Ромашова винтовки.

Да, похоже, эти ребята много чего успели повидать! Даже на Канатчикову дачу доходили слухи о множестве шпионов, засылаемых фашистами в Москву с документами, которые те забирали у наших убитых солдат или шлепали сами с превеликим мастерством.

Но Ромашов весьма невыгодно отличался от этих шпионов, и прежде всего тем, что они-то вызубрили все свои данные, а он даже не успел заглянуть в паспорт! Он даже отчества своего нового не знал!

В висках застучало еще сильнее, но дышать почему-то стало легче. И вдруг вспомнилось, как Люся хохочет, повторяя: «Павел Петрович? Или Петр Павлович?»

– Ромашов Петр Павлович, – выпалил он.

– Откуда родом? – последовал вопрос.

В горле пересохло, в виски снова ударило, но в грохоте крови Ромашов отчетливо различил перепуганный Люсин шепоток, настойчиво твердящий: «Деревня Струнино. Струнино! Александровского района Владимирской области!»

– Что? – тупо оглянулся он на Люсю. – Ты что-то говоришь?

Глаза у нее стали – вот-вот выскочат!

– Нет, – замотала головой, – я ничего, я молчала!

– Отвечайте на вопрос! – рявкнул начальник патруля.

Ромашов повернулся к нему и повторил слово в слово:

– Деревня Струнино. Струнино! Александровского района Владимирской области!

Люся издала какой-то звук, словно подавилась.

Ромашов не обернулся.

– А почему не в армии? Ваш 1903 год призывался, – с неожиданным добродушием проговорил начальник патруля.

Итак, Петр Ромашов оказался на два года младше Ромашова Павла? Теперь он стал ровесником ненавистного Грозы?

Или... нет? Нет. Точно нет, он чувствовал это! Здесь что-то не то, это ловушка.

Строптиво возразил:

– Я тысяча девятьсот первого года рождения.

– А, ну да, – кивнул начальник, с преувеличенным вниманием всматриваясь в паспорт. – Что это я говорю...

«Проверяешь? – хмуро подумал Ромашов. – Да был бы я шпион, у меня бы все это от зубов отскакивало! Неужели непонятно? Хотя да... Непонятно, что происходит!»

– Так почему не в армии? – повторил начальник. – Девятьсот первый тоже призывался.

– Я только вчера из больницы вышел, – нехотя признался Ромашов, потому что эта нежеланная правда была на данный момент самым лучшим его оправданием.

– Из какой?

– Имени Кащенко.

Один солдат хохотнул было, но тут же заткнулся под взглядом начальника.

– Кащенко? – повторил тот. – По моим сведениям, они вчера все эвакуировались. Помещение под госпиталь отдали. Уже к ночи туда первых раненых завезли. Вас что, в последнюю минуту выписали?

Ромашов слабо кивнул.

– Справку больничную покажите.

Ромашов вскинул голову:

– Справки нет. Меня не выписывали, я сам оттуда ушел. Я выздоровел, ну и ушел. С их справкой меня бы к армии не подпустили, а я в ополчение пойти хотел.

Произнес эти слова, а потом осознал, что вообще говорит.

Почему он так сказал?! Неведомо! До него словно легкий ветерок долетел... ветерок мыслей начальника патруля... тот как раз подумал, что если больного и не призвали бы, то уж в ополчение он вполне мог записаться, исполняя патриотический долг советского гражданина, а то отсиживается тут за какой-то довольно уродливой юбкой!

У Ромашова задрожали ноги.

Неужели... неужели возвращается то, что он считал утраченным? Или это просто мерещится?

Напрягся было, пытаясь поймать еще что-то, какие-то мысли, однако начальник патруля уже повернулся к Люсе:

– Быстренько соберите вашему... этому... кхм, короче, соберите ему смену белья да поесть на первое время. Мы его до призывного пункта проводим, это недалеко, улица Бакунинская, дом тринадцать, в помещении третьей школы. Переночует там с другими, а с утра на вокзал – и в учебную часть.

Несколько мгновений Люся и Ромашов стояли неподвижно, глядя друг другу в глаза.

– У меня там, в «сидоре», белье и телогрейка. Положи только картошки, если есть лишняя. И воды в бутылку налей, – попросил он.

– У меня еще банка тушенки есть, – подхватила Люся. – И лук...

Скоро «сидор» из больничной наволочки был заново увя-

зан, и Ромашов надел его на плечи.

– Поторопитесь! – приказал начальник патруля.

Ромашов пошел было к двери, но обернулся, взглянул на Люсю, которая неотрывно смотрела на него...

– Спасибо, – поблагодарил неловко.

– Не за что! – жарко возразила она. – Храни тебя Бог!

Вернешься ко мне?

– Вернусь, – кивнул он.

– Буду ждать. Хотя всю жизнь – ждать буду! Только возвращайся!

Из этого короткого разговора никто из патрульных не услышал ни слова.

Из содержания заметок Виктора Артемьева о событиях 1920 года, переданных им Грозе

Тогда, в ноябре 1920-го, все началось с того, что Артемьеву вдруг приснился Николай Трапезников. Приснился впервые за два года, минувших с тех пор, как Артемьев его уничтожил! Разумеется, застрелил Трапезникова кто-то другой из числа чекистов, участвовавших в той операции 31 августа 1918 года, однако именно Артемьев своими руками уничтожил последние остатки его духовной сущности, явившейся тогда в виде призрака. То есть последние вздохи жизни прикончил в нем сам Артемьев. И Трапезников был всего лишь одним из многих, уничтоженных им!

Надо признаться, Артемьев довольно хорошо умел управлять своими сновидениями, иначе, наверное, частенько выдавались бы ночи, когда ему просто не удавалось бы уснуть. Жизнь он прожил долгую и трудную, и если его иногда называют злодеем и убийцей, это была истинная правда. Впрочем, у революции, которой он служил и продолжал служить по мере своих сил, а иногда и сверх этой меры, свои законы, свои понятия добра и зла. Артемьев еще в юные годы усвоил, что убийство царского жандарма – не убийство, а справедливая месть опричнику самодержавия, экспроприация – не ограбление, а тоже акт справедливости: возвращение подлинному хозяину – народу – несправедливо похищенного у него за века угнетения. Однако с течением времени с человеком происходит что-то, ему не вполне подвластное, называемое переосмыслением прежних пристрастий под воздействием жизненного опыта. Особенно если он осознает, что высокая цель, к которой он шел, порою утопая в крови, является ложной приманкой для прекраснодушных идеалистов, на поверку оказавшихся всего лишь палачами, а тот самый народ, во имя которого, казалось, совершались подвиги, остался такой же, если не более, угнетаемой, подавляемой массой. Причем подавляют его те же самые люди, которые якобы боролись за его свободу и духовное возрождение.

Если духовным возрождением называют «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», который так боялся увидеть Пушкин, то лучше бы оно, это пресловутое возрожде-

ние, никогда не происходило!

Впрочем, Артемьев должен оговориться сразу: мысли, которые он сейчас излагает, и чувства, которые терзают его, появились у него недавно. Они, бесспорно, были вызваны тем, что он наблюдал и испытал в Сарове, однако тогда, перед поездкой туда, он еще оставался прежним Виктором Артемьевым, который отдал все свои силы, как обычные, так и сверхъестественные, служению революции и разработкам методик коллективного гипноза. Он мечтал поставить оккультизм на обработку массового сознания населения Советской России! Ему удалось это сделать. Разумеется, вместе с ним работали и другие: циркач Дуров, Барченко, даже Богданов. За это они все заслуживают смерти. Но осознание содеянного и раскаяние пришли к Артемьеву позднее. А тогда, в ту ноябрьскую ночь, когда ему приснился Трапезников, Артемьев был просто слегка удивлен и сначала решил, что произошло это потому, что он утратил контроль над работой своего усталого мозга и не выставил привычную защиту против появления тех кровожадных химер, которые называются угрызениями совести и которые вполне способны довести слабого человека до сумасшествия.

Трапезников стоял перед Артемьевым в том же черном балахоне колдуна, в котором принял смерть, однако в руке держал машинописный листок. Артемьев отчетливо видел каждую строчку. Вот что он прочел:

«Основываясь на положении Наркомата юстиции от 20 августа 1920 г. о ликвидации мощей во Всероссийском масштабе, Темниковский²¹ IX уездный съезд Советов принял решение о вскрытии раки²² с мощами Саровского Святого. Поначалу президиум исполкома испытывал некоторые колебания, однако серьезное и вдумчивое отношение к речи оратора, говорившего по этому вопросу, сразу же внесло успокоение, а развернувшиеся после доклада выступления вполне убедили, что почва для вскрытия мощей готова. Докладчик, заведующий Темниковским УОНО²³ Захар Дорофеев, поэт и переводчик «Интернационала» на мокшанский²⁴ язык, заключил свое убедительное выступление новыми стихами:

Бога – нет. Пророки – сказка.
Мощи – выдумка церковей.
Снята набожная маска
Революцией с людей!

IX Темниковский съезд Советов по предложению З.Ф. До-

²¹ В 1920 г. Темниковский уезд с находившимся на его территории городом Саровом принадлежал к Тамбовской губернии. В 1923 г. большая часть уезда вошла в состав Пензенской губернии, остальная территория была разделена между Нижегородской и Рязанской губерниями. Темниковский уезд как административная единица был упразднен в 1925 г.

²² Рака – ковчег с мощами святых, имеющий форму гроба.

²³ Уездный отдел народного образования.

²⁴ Мокшанский и эрзянский языки относятся к мордовской подгруппе финно-волжских языков.

рофеева сформировал комиссию по вскрытию мощей Саровского Святого во главе с начальником уездного отдела юстиции Зайцевым. Секретарем комиссии стал Кветыевский. В нее вошли представители Тамбовского губкома РКП(б) и губисполкома Спасского, Керенского, Ардатовского и Краснослободского укомов партии. Всего в комиссию входило 157 человек. Решение съезда было санкционировано губернскими властями. Председатель губисполкома А.Г. Шлихтер отправил в Темников телеграмму: «Разрешается при соблюдении всех мер осторожности, внимании к верующим, полной корректности к духовенству и сузубой законности всех практических мер. Тщательно выработать план, резолюцию опубликовать от имени президиума губисполкома заранее в газетах и пред вскрытием гроба всем присутствующим».

Как только Артемьев прочел эти строки, видение рассеялось, он проснулся – и уже не смог уснуть до утра. Известие, «сообщенное» Трапезниковым, взволновало его чрезвычайно. Он давно испытывал желание побывать на вскрытии рака с мощами какого-нибудь святого православной церкви, чтобы убедиться в истинности, подлинности, а главное, действительности этих церковных артефактов. Еще в 1918 году, при конфискации новой властью имущества Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, была вскрыта рака с останками преподобного Александра Свирского; потом по-

следовало вскрытие и освидетельствование мощей святителя Питирима в Тамбове, преподобного Тихона Задонского в Ельце, чудотворцев князей Василия и Константина в Ярославле, угодников Макария и схимника Дмитрия в Юрьеве Владимирской губернии, и даже вскрытие гроба святого Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре (это едва не вызвало народных волнений, и дело доходило до того, что пришлось мобилизовать роту размещавшихся поблизости курсантов). Всякий раз вскрытие мощей выявляло малоприятные для церкви факты: обнаруживались полуистлевшие остатки скелетов, «дополненные» воском, ватой и так далее. То есть «нетленных мощей» – полностью сохранившегося, избегнувшего разложения тела – не было и в помине! В советских газетах эти останки презрительно называли «святые чучела». И при всем этом были известны многочисленные, поистине необъяснимые, случаи чудесных исцелений, происходивших при приближении больных людей к останкам православных святых, положенных много веков назад в гробы. Эти факты передавались из уст в уста, были зафиксированы в церковных книгах, в летописях. В чем же дело? Истина это – православные чудеса – или ложь?

С одной стороны, как большевик и материалист Артемьев не должен был верить поповским бредням. С другой стороны, оккультные науки и черная магия, которым он посвятил жизнь и которые поставил на службу Советской власти, тоже не имеют никакого отношения к материализму...

А главное, что Артемьев точно, совершенно точно знал: над местом погребения Саровского Святого совершались чудеса! Причем происходило это задолго до того, как преподобного старца официально, в присутствии всей императорской фамилии, канонизировали в 1903 году!

Артемьеву рассказывала об одном таком чуде его мать, Надежда Федоровна Артемьева, в девичестве Кравцова. Она была самой близкой подругой Евгении Дмитриевны Всеславской, которая потом вышла замуж за Александра Трапезникова и родила сына Николая.

Того, которого Артемьев убил...

В 1875 году Женечка Всеславская, когда ей было всего семнадцать лет, упала с балкона во время свадебных торжеств в доме своей задушевной подруги Нади Кравцовой. Обрушились ветхие перильца, с балкона свалились многие, но кто отделался ушибами, кто вообще ссадинами, а Женечке не повезло больше всех. Сначала у нее отнялись ноги, потом настала полная неподвижность. Родители, испробовав все возможности медицины, отчаялись, и тогда Женя увидела во сне – ох уж эти вещи сны, кому благословение, кому проклятие! – преподобного старца из Сарова, который сказал ей: «Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик. Все, что ни есть у вас на душе, все – припадите ко мне на гробик, припав к земле, как к живому, и расскажите. И услышу я вас, и скорбь ваша пройдет! Как с живым со мной говорите, и всегда для вас жив я буду!»

Эти слова Артемьев столько раз слышал от матушки, что запомнил их наизусть.

Родители повезли Евгению из Нижнего Новгорода, где жили в ту пору, в Саров, а вместе с ней отправилась в это тяжкое паломничество та самая подруга, на свадьбе которой Женя пострадала: Надя Кравцова, теперь Артемьева. Была она в то время уже беременна.

И вот там-то, в Сарове, когда Женю положили на могилу преподобного старца, она вдруг начала плакать и кричать: «Отпусти, в чем впредь согрешу, но по своей воле греха на душу никогда не возьму!» После этого она пошевелила руками, потом ногами, потом с превеликим трудом перевернулась на колени, поцеловала землю на могилке – ну а затем встала и пошла.

Надежда Артемьева при виде этого упала в обморок. Ее с трудом привели в сознание и даже опасались за жизнь будущего ребенка. Однако он выжил... хотя Артемьев предполагает, что теми странными способностями, которыми он владел, он был обязан именно посещению его матерью могилы саровского чудотворца. Не зря его имя всегда странно волновало Артемьева, и, хотя это было ему вроде бы не к лицу, он в свое время даже прочел сборник пророчеств Серафима Саровского, записанных одним из его современников. Да... святого праведника из Сарова вполне можно назвать русским Нострадамусом!

На матушке Артемьева это посещение никак не отрази-

лось, а вот подруга ее выздоровевшая, Женя Всеславская, после чудесного своего исцеления открыла в себе очень многие магические свойства: как благие, так и губительные, в частности дар прорицания. Сын ее Николай, который появился на свет спустя два года (на возвратном пути в Нижний, случайно, а может быть, и нет, Женя познакомилась с Александром Трапезниковым), не только унаследовал некоторые ее способности, но и приумножил их. Лиза, конечно, достойная его дочь... а вот дар Артемьева, к несчастью, умрет вместе с ним, ибо его дочь Марианна ему не наследница: она так же пуста, как Ромашов, которого его соплеменники-лопари, встретившись в нем в 1922 году, презрительно наименовали курас, то есть пустой.

Впрочем, не о том сейчас речь.

Итак, после того сна, не внять которому было просто невозможно, Артемьев оставил все дела и отправился в Саров. Ему повезло: к этому времени Троцкому, который являлся председателем Реввоенсовета, однако одновременно принял на себя и обязанности наркома путей сообщения, удалось навести на железной дороге хотя бы подобие порядка. Троцкий распространял свои излюбленные методы военной дисциплины на транспортное хозяйство, и атмосфера страха, которую он насаждал (на первых шагах Артемьев его в этом поддерживал, наставлял, обучал, потом Троцкий и сам начал справляться), принесла свои результаты. Поэтому Артемьев, обеспечив себя всеми мыслимыми и немыслимы-

ми мандатами (должность руководителя Спецотдела НКВД давала ему огромные полномочия!), благополучно доехал до Арзамаса по железной дороге, которая соединила эту станцию с Москвой еще с 1911 года, а оттуда в тот же день отправился на санях в Саров.

Ямщик всю дорогу опасно озирался, и Артемьев его понимал: на Тамбовщине начались крестьянские волнения, охватившие всю губернию в большей или меньшей степени, и, хотя Саров находился далеко от губернского центра, бунт распространялся стремительно, словно лесной пожар. То одна, то другая деревня вспыхивала жадной крови, и представители власти старались передвигаться обозами и под охраной. Артемьев же надеялся больше на свои *особые* силы.

В Саров он прибыл заранее: вечером 15 декабря, хотя вскрытие раки с мощами было назначено на семнадцатое.

Саров представлял собой невеликий, но хорошо оборудованный городок-крепость, состоящий из большого числа монастырских каменных хозяйственных построек, нескольких десятков изб и восьми церквей. Чуть больше полутора сотен монахов жили в монастырских кельях. Здесь монашествовали только мужчины – женщины постригались в находящейся на расстоянии двадцати верст отсюда Дивеевской обители.

Народу в городок понаехало немало, словно на паломничество. Однако порядок, царивший в Сарове, удивил Артемьева. Руководил всем человек по фамилии Зверюкаев, нарочно отряженный Темниковским укомом партии для ис-

правления должности коменданта на время мероприятия. Зверюкаев держал в поселке поистине военную дисциплину! Артемьев встретил коменданта на крыльце поселкового Совета, где тот приколачивал к стене большой лист фанеры с разборчиво написанным объявлением:

«Настоящим доводится до общего сведения, что все прибывающие в Саров представители от разных организаций должны представить свои мандаты для регистрации коменданта в гостевом доме номер 1. Помещения в Сарове для прибывающих представителей будут указаны в канцелярии. Чай для представителей будет выдаваться в Сарове в клубе. Обед и ужин в трапезной (братской) в самом монастыре. Комендант».

Зверюкаев сообщил, что из начальства Артемьев прибыл чуть ли не первым: все темниковские уездные руководители появятся завтра, а то и послезавтра. Он выдал Артемьеву талоны на питание и на проживание.

Саровский монастырь располагался на горе. С запада к нему примыкали гостевые дома, где раньше селились паломники. Теперь они были все закрыты, кроме дома номер 1, указанного в объявлении Зверюкаева. Невдалеке виднелось кладбище с церковью во имя Всех святых. С востока находились конный двор и баня. С севера, под горой, виднелась отдаленная церковь: позже Артемьев узнал, что это храм Иоан-

на Предтечи. Все прочие церкви были построены на главной площади городка.

В гостевом доме странноприимный монах указал Артемьеву койку в комнате на пять человек. Четыре кровати были застелены тяжелыми одеялами, но смяты, как будто на них уже кто-то отдыхал; на полу валялись крестьянские торбы. На пятой кровати лежала большая подушка без наволочки, одеяло и – стопкой – постельное белье: грубое, но удивительно чистое.

– Инок? – спросил Артемьев приемщика.

– Послушник, – последовал ответ. – Послушание мое печальное такое: встречать приезжих на кощунствие.

Вид у него, несмотря на дерзкий ответ, был уныло-смирный, и Артемьев не стал к его словам цепляться: в конце концов, вскрытие мощей святого старца для верующих – и в самом деле «кощунствие». Однако все же не удержался от ехидства:

– А не грешно ли кощунников на чистое белье укладывать?

– Всегда всякому новому монастырскому насельнику выдавали постельное белье, а также послушническую и рабочую одежду, – со вздохом сообщил приемщик. – Порядок такой исстари заведен.

– Ого, – удивился Артемьев. – А я думал, вы тут спали на камнях, не снимая вериг, и молились, молились, лбы разбивая...

Послушник перекрестился, не поднимая глаз.

– Баня работает? – миролюбиво спросил Артемьев, решив больше не задираться. – По каким дням?

– У мирских у каждого своя, домашняя, а при монастыре мыльню теперь только раз в неделю горячат. Нынче нету – завтра будет.

Потом Артемьев поужинал в братской трапезной: небольшом доме на монастырской территории, где за длинными столами ели оловянными ложками из оловянных мисок четыре человека – явно посторонние в монастыре, потому что они с превеликим любопытством оглядывали беленые чистые сводчатые стены. Артемьев удивился, не видя во множестве икон: они висели только в одном углу, позади отдельно стоящего стола. Наверное, во время монастырских трапез там сидели настоятель, игумен, благочинный, казначей – ну и какое еще есть в монастырях начальство?

Артемьев поел чуть теплого, но очень вкусного грибного супа с черным хлебом, налил из большого глиняного кувшина кисловатого яблочного квасу в глиняную кружку. И вернулся в гостевой дом.

Соседи по комнате уже спали; Артемьев тоже лег, но долго не мог уснуть в духоте.

Он был недоволен собой. На кой черт так спешил, так гнал возчика? Можно было передохнуть в Арзамасе, а Артемьев только заглянул в уком – и рванулся в Саров, как будто его здесь ждали. И в дороге, в самом деле, рисковал зря. Приехал

бы с членами укома завтра вечером...

С этими мыслями Артемьев, наконец, уснул, даже не подозревая о том, что день грядущий ему готовит.

Восточный фронт, 1941 год

За то, что Вальтеру Штольцу удалось не просто побывать на Восточном фронте, но оказаться включенным в состав Особого секретного подразделения СС, которое курировал лично рейхсфюрер Гиммлер, он должен был прежде всего благодарить своего отца, Франца-Ульриха Штольца, одного из основоположников «Общества Туле». Потом, когда оно попало в разряд запрещенных организаций, Штольц-старший сделался активным деятелем «Аненэрбе»²⁵. Он состоял в секретной службе Адольфа Гитлера и считался одним из советников и близких друзей фюрера. К его просьбе быть снисходительным к сыну отнеслись благожелательно.

Также именно отца следовало благодарить Вальтеру за то, что он носил сейчас звание штурмбаннфюрера СС, а не оста-

²⁵ «Общество Туле» – немецкое оккультное и политическое общество, возникшее в Мюнхене в 1918 г. Считается, что общество имело отношение к созданию секретного оружия Гитлера. Его руководители не только учили Гитлера искусству публичных выступлений, но и передали ему некие магические секреты, позволившие ему добиться политического успеха. «Аненэрб^е» – организация, существовавшая в Германии в 1935–1945 гг., созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха.

вался всего лишь оберштурмфюрером²⁶, хотя после провала операции под кодовым названием «Iwan der Schreckliche» вряд ли мог рассчитывать на повышение.

Это ощущение непрестанной благодарности тяготило честолюбивого Штольца-младшего необычайно, и он готов был на все, чтобы перестать таиться в тени своего могущественного отца, доказать свои собственные силы – и загладить то невыгодное мнение, которое сложилось о нем после позора, которым завершилась московская операция.

«Iwan der Schreckliche» в переводе на русский означало «Иван Грозный». Штолец-младший за время полугодовой службы в качестве атташе германского посольства в Москве успел обзавестись некоторым количеством весьма полезных информаторов в различных слоях советского общества – благодаря своему превосходному знанию языка и кое-каким гипнотическим способностям, а также щедрости. Семья Штольцев была очень богата, и Вальтер мог иногда приплачивать особо ценным сотрудникам суммы, превышающие официальный расчетный лимит, предназначенный для агентыры. Состоял у него на bezüge²⁷ некий незначительный служака из НКВД, который и просветил его насчет того наименования, которое дается в секретной переписке НКВД Ста-

²⁶ Звание оберштурмфюрера СС соответствовало званию обер-лейтенанта вермахта, звание штурмбаннфюрера – майорскому.

²⁷ Оклад, содержание (нем.).

лину²⁸. Вальтер неплохо знал русскую историю, поэтому он считал вполне уместным назвать тайную операцию по устранению Сталина, весьма уважавшего Ивана Грозного, именно так – «Iwan der Schreckliche», «Иван Грозный».

Однако Штольц-старший не мог понять, зачем сын тратит деньги на эту мелкую энкавэдэшную букашку, когда в самом СПЕКО²⁹ служит его старинный друг?..

Речь шла о Дмитрие Егорове по прозвищу Гроза. Вальтер, в юные годы заброшенный судьбой в Москву, растерявший всех родственников, умиравший от голода, нашел у Грозы приют, пережил и Октябрьский переворот, и страшную зиму 1918 года только благодаря другу и его удивительной способности «бросать огонь»: внушать людям страх и боль. У жертв его внушения создавалось ощущение, будто их обжигает пламя!

Весной 1918 года отцу удалось отыскать Вальтера и увезти его из России, однако Штольц-старший искренне сожалел, что, по воле обстоятельств, ему не удалось заодно увезти в Германию и Грозу, о котором он много слышал от сына. Этот юнец со своим необыкновенным даром внушения мог быть очень полезен Францу-Ульриху Штольцу, который старательно подогревал в Адольфе Гитлере его увлечение

²⁸ В секретной переписке НКВД Сталина именовали Иваном Васильевичем (в честь Ивана Грозного).

²⁹ СПЕКО (Специальный криптографический отдел) – так в секретных документах обозначался 9-й отдел ГУГБ (Главного управления государственной безопасности) НКВД СССР (до 25 декабря 1936 г. – Спецотдел ГУГБ НКВД).

окультизмами науками и собирал в сотрудики «Аненэрбе» всех тех, кто отличался сверхъестественными способностями хотя бы в мало-мальском их проявлении. Гроза оказался бы среди них яркой звездой! Однако он остался в Советской России, и не было ничего удивительного в том, что его «прибрал к рукам» Спецотдел ОГПУ, затем перешедший в ведение НКВД, который занимался отчасти тем же, чем и «Аненэрбе»: окультизмами науками и древними тайными практиками, пытаясь поставить их на службу новой власти.

Прибыв в 1937 году в Москву, Вальтер отыскал друга и повидался с ним. Радость их обоих при этой встрече была настолько искренней, что перед ней ступала вражда, которая существовала между фашистской Германией и СССР. К этой вражде старинные друзья не хотели иметь никакого отношения! Вальтер вообще настороженно относился к фашистам, хотя и тщательно скрывал это – даже от отца. Гроза тоже вынужден был скрывать свою ненависть к государству, которое уничтожило прежнюю Россию. Однако новая страна – СССР – все же возникла на обломках той самой России, которую пытался защитить Гроза, участвуя в покушениях на Ленина, и, хотел он этого или нет, любовь к России пересиливала в его душе ненависть к СССР.

Гроза был откровенен с Вальтером, рассказывая обо всех событиях своей жизни, происшедших после их расставания на Сухаревке в тот мартовский день 1918 года. Познакомил он старого друга со своей женой Лизой, которая была бере-

менна, и рассказал о ее способностях медиума. Он даже упомянул о некоем весьма загадочном деле, в котором участвовал в 1927 году в маленьком городке Сарове, тогда принадлежавшем к Пензенской, а теперь – к Горьковской области, и эта почти невероятная история надолго захватила воображение Вальтера!

Однако о работе Спецотдела Гроза не обмолвился ни словом, просто по долгу службы считая себя обязанным молчать о ее тайнах. Все-таки совсем уж абстрагироваться от того, что Вальтер – представитель враждебной страны, не удалось! Так что надежды Штольца-старшего на лояльность Грозы и возможное сотрудничество с ним были совершенно напрасны, поэтому необходимые сведения Вальтер продолжал собирать по крупицам у мелких информаторов.

Впрочем, не всегда таких уж мелких!

Вальтеру удалось найти подход к самому Карлу Паукеру, который служил начальником охраны Сталина, а также был чем-то вроде его личного шута. Сталин обожал слушать анекдоты в его исполнении! Кроме того, Паукер, некогда поработавший в оперном театре Будапешта гримером и парикмахером, стриг и брил Сталина, который безоговорочно ему доверял. Паукер, большой любитель дорогого алкоголя, исправно поставляемого ему Вальтером, однажды проболтался, что к нему обратились какие-то странные люди, которые согласны были заплатить огромные деньги за состриженные волосы вождя.

Услышав это, Вальтер насторожился. Любому, кто знал хоть мало-мальский толк в оккультных науках, была понятна ценность волос жертвы, обреченной на энвольтование – наведение порчи или даже убийство на расстоянии. Оккультизм и мистицизм пронизывали всю жизнь Вальтера, с самого рождения! Он искренне верил в гипноз, в телепатию, сам обладал некоторыми навыками. Также верил он и в возможности энвольтования...

С помощью Паукера он познакомился с теми, кто хотел купить волосы Сталина, и вскоре вошел к ним в доверие. Произошло это опять же благодаря авторитету его отца. Имя Франца-Ульриха Штольца было известно еще с тех пор, когда он, накануне Мировой войны, был германским атташе в Петербурге и водил знакомство не с кем-нибудь, а с Григорием Распутиным, которого втайне считал одним из самых могущественных магов своего времени, хотя публично отзывался о нем весьма пренебрежительно, называя мужиком и мошенником. Был Франц-Ульрих знаком и с Бехтеревым, Барченко, знал совсем молодого в ту пору Чижевского...³⁰ Словом, сыну Штольца-старшего было нетрудно стать своим среди заговорщиков.

Однако чем дольше Вальтер общался с заговорщиками, тем лучше понимал, что силы их слабоваты. Вот если бы к

³⁰ Чижевский Александр Леонидович (1897–1964) – советский ученый, биофизик, один из основателей космического естествознания, основоположник космической биологии и гелиобиологии.

ним присоединился Гроза, обладающий способностями, которые еще в юности приводили Вальтера в восхищение и до сих пор преисполнявшие его завистью!.. На уговоры было потрачено много времени, и в конце концов Гроза согласился встретиться с заговорщиками, которые собирались в одном подвале на Малой Лубянке. Однако Вальтер чувствовал, что в эту затею друг не верит и даже его самого попытается отговорить от ненужного и бессмысленного риска. Во время такого же заговора в августе 1918 года Гроза потерял одного из самых близких людей, Лиза лишилась отца, вся их жизнь была исковеркана, и Гроза чувствовал бессмысленность и опасность затеи Вальтера. Его настроение усугублялось тем, что Лиза недавно родила двойню. Это событие заставило его иначе смотреть на мир. Ради детей он со многим готов был смириться...

Однако Вальтер не собирался отступать. Слишком много сил положил он на организацию этого заговора и слишком верил в него!

Место для сбора его участников было выбрано не случайно: подвал на Малой Лубянке, 16, находился неподалеку от легендарной Лубянки и здания НКВД, вокруг которого клубилась особая темная, кровотокающая аура. Кроме того, в 1929 году именно в этом подвале размещалась лаборатория Московского отделения Ленинградского института мозга имени Бехтерева.

Среди сотрудников лаборатории был некто Вадим Чехов-

ский³¹, который занимался опытами по гипнозу, внушению и коллективной телепатии. За ним следили чекисты, и вот однажды они накрыли в лаборатории сборище каких-то иностранных людей в черных балахонах. Поначалу предположили, что в подвале собирались гипнотизеры, занимавшиеся подготовкой покушения на Сталина. Однако никаких признаков энвольтования не обнаружили, а все участники заговора в конце концов оказались членами московского тайного ордена розенкрейцеров «Эмеш редививус». В их число входили уже упоминавшийся профессор Чижевский, несколько его именитых коллег, а также двое французских дипломатов, мистик-анархист Евгений Тегер³² и многие другие «практические оккультисты». Чеховский пояснил на допросе, что хотел совместить мистический опыт православных подвижников, например Серафима Саровского, с научными данными. Целью было осчастливить человечество, прежде чем это сделают марксисты-коммунисты.

Заговорщиков-идеалистов не поставили к стенке – отправили в лагерь.

³¹ Чеховский Вадим Карлович (1902–1929) – химик, физик, радиоинженер. В 1928 г. арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и осужден на 5 лет лишения свободы. Был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1929 г. расстрелян за попытку организации побега заключенных.

³² Тегер Евгений Карлович (1890–1942) – эзотерик и анархист, бывший Генеральный консул РСФСР в Афганистане, бывший сотрудник Наркомвнешторга, один из организаторов тайного общества, занимавшегося «практическим оккультизмом».

Однако перед Вальтером задача стояла куда более серьезная и опасная: именно энвольтование и убийство Сталина на расстоянии. Для этого все заговорщики должны были создать коллективный индуктор³³. Вальтер почти не сомневался в удаче и уже лелеял весьма честолюбивые надежды.

Однако Паукер проговорился о странных людях, которым он продал состриженные волосы Сталина, не только Вальтеру... Об этом стало известно 2-му оперативному отделу ГУГБ НКВД, который немедленно взял эти сведения в разработку, обойдя отдел 9-й, руководимый Глебом Бокием, а ведь именно ему полагалось бы по должности раскрывать оккультные заговоры!

В результате операции 2-го отдела все заговорщики были выслежены и застрелены как раз тогда, когда они только приступили к процессу энвольтования.

Однако так случилось, что и Вальтер Штольц, и Гроза по разным причинам опоздали к началу действия и оказались около рокового дома, когда операция по уничтожению собравшихся оккультистов уже началась.

Гроза, пытаясь спастись, «бросил огонь» с такой силой, что сотрудники НКВД были на время совершенно выведены из строя. Это дало возможность Грозе и Вальтеру бежать.

Гроза бросился спасать семью. А Вальтер под чужим име-

³³ Коллективный индуктор – совместная работа группы гипнотизеров и телепатов, которые одновременно внушают определенные мысли или передают приказы человеку, находящемуся в другой комнате или даже в другом помещении.

нем немедленно выехал ночным курьерским поездом в Ленинград и утром уже был на борту торгового парохода, уходящего в Гамбург. Только в Германии, да и то далеко не сразу, он узнал, что Гроза и его жена были в ту же ночь убиты, а их новорожденные дети исчезли...

Горький, 1941 год

Ольга стояла перед платяным шкафом и перебирала вещи мужа. Одни, пересмотрев, перещупав, на минутку прижав к сердцу, возвращала в шкаф, другие складывала стопочкой на кровати. Действовала она совершенно машинально, потому что мыслями была далеко – где-то возле неизвестной ей деревушки Красной, откуда вчера пришло письмо от Василия. Впрочем, линия фронта постоянно колеблется, в сводках нет никакой определенности, и где сейчас полк мужа, ей неизвестно. Точно так же неизвестно, жив ли Василий вообще! Но об этом лучше не думать. Лучше вспоминать затверженные наизусть строки из его письма и верить, что он здоров, а главное – жив!

«Знаешь, Оленька, когда я получил твое письмо, нас как раз начали обстреливать. Из домов, в которых мы укрылись, со звоном летели оконные стекла. Пришлось залечь под стенками и ждать, когда хоть немного утихнет ураганный огонь. В одной руке я держал оружие, а в другой –

твое письмо и торопился дочитать его, а то ведь ударит случайная пуля или осколок да еще и убьет, и так и не узнаешь, о чем ты, милая, написала!

Когда обстрел окончился, были мы живы, по счастью, зато все в пыли, древесной трухе и грязище. Вот что досадно: только вчера мылись в хорошей бане, белье прожарили, причем второй раз на неделе. Здесь странное отношение к быту: отсутствия удобств не замечаешь, но их присутствие ценишь, как никогда раньше. Вот как с этой баней. А вообще мое здоровье пока ничего. Бывало, чуть простынешь или съешь что-то не то – и заболел, а тут все это время в холоде да на сырой воде, и ничего, как об стенку горох.

Обещают нас скоро в сапоги переобуть: пока еще носим башмаки и обмотки. Ну что ж, в башмаках бегать легче, чем топтать землю сапогами. Вот только в обмотках надоело ходить: больно долго их наматывать, да ведь еще правильно надо намотать! Поначалу жизнь превращалась в перманентную битву с двумя непослушными тканевыми лентами примерно трехметровой длины. Но ведь и сапоги носить, не сбивая ноги в кровь, – тоже надо уметь!

Одно смешно: от ботинок и обмоток воротят носы даже деревенские мужики, которые пришли в город на призывной пункт в лаптях! Я чуть не прослезился, их завидев. Вспомнил, как в Павлове работал: в те годы чуть ли не все поголовно в лаптях ходили...

Все какую-то ерунду тебе пишу, дорогая, милая, радость

моя! Как ты, как наша ненаглядная Женечка? Верю, что со мной ничего не случится, что смогу воротиться к вам, обнять вас, прижать к себе – и не отпускать!

Да, вот что еще хочу сказать, чуть не забыл: говорят, в тылу теперь трудно живется. Ты ничего про это не пишешь, но товарищам жены жалуются, что за деньги купить все дорого, а на вещи выменять можно, как в гражданскую, рассказывали, было. Я тебя прошу, Оленька: если надо, ты мои вещи меняй без всякой жалости. У меня барахла как-то постыдно полно: рубашки, два жилета шерстяных, ну и все такое. Если это вас с Женечкой поддержит, я буду просто счастлив. А вернусь – наживем еще добра!

И напоследок... Ты сердисься, что я редко пишу. Я тебе отвечу словами одного моего товарища, тоже нашего, горьковского, Саши Чернова. Он стихи сочинил для своей жены, а мы все их списали и своим женам отправляем. Очень хорошо написал! Вот, читай:

*Ты просишь писать тебе часто и много,
Но редки и коротки письма мои.
К тебе от меня – непростая дорога,
И много писать мне мешают бои.*

*Враги – недалеко. И в сумке походной
Я начатых писем с десятков ношу.
Не хмурься! Я выберу часик свободный,
Настроюсь – и сразу их все допишу.*

*Пускай эта песенка – вместо письма.
Что в ней не сказал я – придумай сама.
И, утром ее напевая без слов,
Ты знай, что я твой, что жив и здоров...*³⁴

Целую тебя, Оленька моя, и страшно люблю, навеки люблю! Твой верный Вась (как сказала бы Женька, которую я тоже крепко целую, и ты ей это передай). До победы, до нашей встречи после победы!»

За спиной скрипнула дверь.

– Я вас зову-зову, думала, ушли, что ли, а вы вот где! – послышался голос домработницы Симочки.

Когда Ольга появилась в этом доме, Симочка всегда ей только тыкала, теперь же перешла на «вы». Впрочем, это понятно. Из няньки Ольга превратилась в «хозяйку», а это положение требовало уважения.

Ольга тоже стала обращаться к ней на «вы». Быть на короткой ноге с Симочкой она решительно не хотела.

– Звали, да? – удивилась она. – Не слышала, извините. Задумалась.

– Что это вы в шкафу порядок взялись наводить? – скользнула вострым взглядом Симочка. – Неужто моль поймали?!

– Не ловила я никакой моли, успокойтесь, Симочка, –

³⁴ Стихи горьковчанина Александра Чернова, погибшего 25 июля 1943 г. на Курской дуге.

усмехнулась Ольга. – Просто вещи перебираю. Мало ли что придется поменять... у нас теперь как-никак двое детей, а у Васи аттестат маленький: ну что такое 200 рублей на все про все? Тамаре Константиновне муж вообще ничего не присылает... Странный такой, верно? Помог ей эвакуироваться – и все, живи как хочешь!

– Ну и зря вы их себе на шею посадили, – проворчала Симочка. – Ладно, жить пустили, а денег почему с них не берете? Василь Василича вещи менять вздумали, чтоб чужих кормить, это где такое видано?!

– Я вам только что объяснила, что Тамаре вообще нечем платить, – начала сердиться Ольга, остро жалея, что затеяла с Симочкой этот неприятный разговор. – И еще раз повторяю: Василий Васильевич разрешил мне променять его вещи на продукты.

– Так он небось думал, что все пойдет для вас с Женечкой, а не для какой-то чужой бабы с рехнувшимся мальчишкой, – буркнула Симочка, осторожно вытаскивая из стопки отложенных для обмена вещей шерстяной жилет Василия Васильевича.

– Симочка, не хочется вас обижать, но вы сами, часом, не рехнулись? – холодно спросила Ольга. – Как у вас язык поворачивается сказать такое?

– А чего б ему не повернуться, если я правду говорю? – дерзко глянула на нее Симочка. – Сашка этот лунатик, неужто не знаете?! Снобродит, как в старину говорили! Что,

новая жиличка ваша ничего вам не рассказывала? Конечно, не рассказывала! Ха! Зачем ей вам сообщать, что вы сумасшедшего ребенка в дом пустили? Погодите, вот он однажды ночью еще зарежет вас вместе с Женечкой, лунатик этот!

– Погодите, Симочка, а вы об этом откуда знаете, позвольте вас спросить? – изумилась Ольга. – Вы же на ночь к себе домой уходите!

Симочка как-то странно поежилась, даже жилет уронила на диван, а потом воздела руку на манер боярыни Морозовой с картины Сурикова (небольшая копия с нее висела в кабинете Василия Васильевича, и Симочка, которая часто стирала с нее пыль, вволю, должно быть, ею налюбовалась!) и с мстительными интонациями провозгласила:

– От людей ничего не скроешь!

Мстительность Симочкина объяснялась очень просто. Еще с прошлых времен она не могла простить Ольге, что та, едва придя нянькою в этот дом, была немедленно прописана хозяевами, в то время как самой Симочке, служившей у них несколько лет, никто даже намека на такое предложение не делал, каких только интриг она не затевала ради этого, особенно в 1937 году, когда Василий Васильевич был арестован. А потом еще Ольга и замуж за овдовевшего хозяина вышла! Вот и теперь она, видимо, ранила домработницу в самое сердце, прописав «какую-то побродяжку с ребенком», которую «подобрала на улице» (цитаты из Симочкиного кухонного ворчания), и та не уставала сплетничать на эту тему

с соседями. Возможно, кто-то из них и в самом деле видел ходящего во сне Сашу...

Вообще ничего страшного в лунатизме, с точки зрения Ольги, не было. Еще в детстве была у них в соседках такая девочка. Но ее родители ставили на ночь в дверях тазы с холодной водой и расстилали мокрые тряпки, чтобы дочка из их комнат никуда не могла выйти. Девочка наступала на мокрое, просыпалась, возвращалась в кровать, да так постепенно и перестала бродить во сне.

Надо посоветовать Тамаре это сделать. Может быть, она не знает, как вылечить сына? А что, если даже не подозревает о его ночных хождениях?! Придется поговорить с ней.

А вдруг Симочка врет? С нее станется! Нет, лучше не говорить Тамаре, а сначала самой за Сашей последить.

– Еще и Женьку вашу заразит такой дурью. У нее странностей прибавилось, что, разве не заметили? – долетел до Ольги злорадный голос Симочки. – Она ведь тоже стала по ночам шастать!

– Ага, конечно, – усмехнулась Ольга. – Шастать, главное! Женя рядом со мной спит, неужто я бы не услышала, как она встает и уходит? И вообще что-то я не пойму, у вас других забот нету, что ли, кроме как сказки мне рассказывать?

– Ой! – всплеснула руками Симочка. – Забыла начисто! Начисто ведь забыла! Там новый командировочный ждет, внизу-то. Пошла про него сказать, да вы меня заговорили!

Ольга только головой покачала – значит, это она загово-

рила Симочку?! – и быстро вышла.

– Прибрать тут, что ли, или так оставить? – спросила вслед Симочка.

– Оставьте, я не закончила! – крикнула Ольга, торопливо спускаясь.

Командировочные в их доме сменяли друг друга беспрестанно. На другой же день после того, как Ольга поселила Тамару и Сашу, участковый привел двоих приезжих из Арзамаса и показал строгое распоряжение райсовета: без разговоров предоставить им помещение. Мужчины эти оказались какие-то угрюмые, на вид неприятные, и, когда через три дня они съехали, Симочка недосчиталась на кухне ложек и вилок. Питались постояльцы в служебной столовой, на кухне только чай утром пили, однако ухитрились ведь... Исчезло также постельное белье, на котором они спали. И вообще в большой комнате на первом этаже, которую Василий Васильевич называл гостиной (Ольге очень нравилось это слово!), а Симочка именовала не иначе как «зало», командировочные устроили жуткий сарай.

Ольга пожаловалась участковому, а тот рассудительно ответил:

– Так ведь приглядывать за своим добром надо, хозяйюшка. Человек – существо вороватое, просто беда! Ну никак не уходят из него пережитки старорежимного прошлого! А вы уроки-то извлекайте, извлекайте из своего горького опыта, потому что я к вам теперь по разнарядке постоянно буду на-

род приводить.

– По какой еще разрядке? – возмутилась Ольга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.